

# ★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



—1—

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву 1941

Сергей Сорокин

**Битва за Москву 1941 - 1**

«Автор»

2026

## **Сорокин С.**

Битва за Москву 1941 - 1 / С. Сорокин — «Автор»,  
2026 — (Битва за Москву 1941)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

## Содержание

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Глава                                   | 5  |
| Глава 1. Двадцать лишних минут          | 6  |
| Глава 2. Сто шагов пустого              | 13 |
| Глава 3. Он там правда стоит            | 20 |
| Глава 4. Линия по земле, а не по бумаге | 27 |
| Глава 5. Со стороны солнца              | 36 |
| Глава 6. Недокопанное врёт лучше        | 44 |
| Глава 7. Ватные ноги ходят              | 50 |
| Глава 8. Портрет бруствера              | 56 |
| Глава 9. Барские руки                   | 62 |
| Глава 10. Час туда, час обратно         | 68 |
| Глава 11. Часы и щели                   | 77 |
| Конец ознакомительного фрагмента.       | 78 |

# **Битва за Москву 1941 - 1**

## **Глава**

Бой за Москву

Том первый



## Глава 1. Двадцать лишних минут



— Колонна молчит пятую минуту, — сказал я в гарнитуру. — Парни по ходу крупно встряли.

Я снова прижал наушник к уху и попытался связаться, надеясь на чудо, но мне ответил лишь шум. Восемь минут назад голос радиста говорил, что колонна встала — размыв, объезд, задний борт в грунте по ступицу. Потом голос смолк, а шум остался, и вот это самое поганое, что бывает. Тишина — понятно, значит, нет связи и работать придётся самим. А вот шум — это когда связь жива, а слов нет, и ты не знаешь, то ли там цепляют трос, то ли его уже некому цеплять.

Над гребнем прошла длинная очередь, и по камню сыпануло крошкой мне за воротник. Нас пытались снять уже третий час, и всё без толку.

— Командир, они двадцать минут в одном темпе работают, — сказал Пасечник своим неторопливым голосом. После такого голоса люди переставали дёргаться и начинали слушать. — Не жмут. Обычно на третьем часу жмут, а эти как по расписанию: очередь, пауза, очередь. Будто время держат.

— Держат. Они нас не выбивают, они нас держат на месте. А на месте держат перед тем, как обойти.

Гряды я знал наизусть: сухое русло слева, обрыв в низину справа, скат к дороге за спиной и кустарник в мёртвых зонах. Солнце садилось мне в затылок, и от каждого камня тянулись длинные чёрные тени — ровно по линии огня.

Металл на рукояти был горячий и мокрый — не мой пот, чужой. Расчёт поддержки выбило на третьем часу: первого номера зацепило в шею, второй утащил его вниз к дороге. Оружие осталось — тяжёлое, с чужим хватом, я привыкал к нему двадцать минут и всё ещё перехватывал не с той стороны.

— Клинь, — сказал Батон. — Дорога.

Я сполз ниже, опираясь на локоть, и глянул под скат. Колонна стояла: не шла, не ползла, а стояла, растянувшись по грунтовке, задним бортом уткнувшись в перелесок и головой торча на открытом.

— Худшим из возможных способов, — сказал я. — Если те, что справа, дотянутся до ската, они будут работать по голове. Голова стоит и никуда не денется. Пасечник, я рассчитывал пять минут. Прошло двенадцать.

— Ну, значит, ещё столько же. Второй раз всегда легче: уже знаешь, где болит.

— Все слушают. Связи нет и не будет. Работаем на голом глазе, схема «три». Штырь вправо на обрыв, Батон влево к руслу, Пасечник центр. Я иду на точку пулемётчика.

— Там прикрытие в полроста, — сразу сказал Штырь. Он всегда сначала спорил, а потом делал в точности как сказано. — Ты там ляжешь, и через две минуты от бруствера останется горка щебня и твоя честная фамилия. Давай я.

— Ты пойдёшь на обрыв: там сорок метров тени, и увидишь в ней кого-нибудь только ты. Остаюсь я, и это не благоденствие — это арифметика.

Дальше команды пошли без слов, одними пальцами: Штырю — вправо, к обрыву, Батону — влево, к руслу, Пасечнику — держать центр. Я пополз к оставленной точке и, когда упёрся плечом, понял окончательно: отсюда я вижу весь их подход и отсюда меня видно всем. Это и было решение — я взял себе сектор, из которого уходить дальше всех и позже всех. И не сказал никому: сказать означало потратить полторы секунды, а они стоили дороже, чем моя честность.

Мы держали двадцать минут вместо пяти. Укрытие крошилось. Батон вскрыл последний короб с лентой, и каждый мой отрезок огня был не «дал очередь», а «отдал четыре секунды из тех, что вообще остались».

Пыль лезла в глаза, оседала на зубах, и во рту стоял вкус нагретого металла и своей же слюны, густой и горькой. Я менял позицию через каждые полторы минуты — сползал на локтях на два метра левее, давал короткую очередь, сползал обратно, — и каждый раз, прежде чем высунуться, считал в уме: раз, два, — и только на счёт «три» поднимал ствол. Один раз досчитал до двух и высунулся раньше — по камню рядом с виском чиркнуло и ушло в скалу, оставив белую свежую царапину величиной с ладонь. Я на это ничего не сказал в гарнитуру. Сказать — значило признаться, что считаю неровно, а неровный счёт на этой позиции стоил не мне одному.

— Командир, справа от обрыва кто-то очень аккуратный, — сказал Пасечник. — Он ни разу не выстрелил. Я его не вижу и не слышу. Я его чувствую.

Пальцы сами сжали рукоять. За все годы Пасечник ошибался в таких вещах ровно один раз, и то потому, что там был не человек, а собака.

На девятнадцатой минуте шум порвался, и оттуда, будто из-под воды, вылез хриплый чужой голос:

— ...ушли. Дорога чистая, головной за перелеском. Уходите, повторяю...

— Принял. Уходим. По скату, по одному, десять шагов интервал.

— Вот он, — сказал Пасечник ровно, и я по одной этой ровности всё понял раньше, чем он договорил. — Тот аккуратный. На фланге у обрыва вскрылись. Расчёт. Метров триста, чуть выше нас.

Короткая злая очередь прошла по гребню, выбила пыль в двух ладонях от моего локтя, и трассер ушёл вниз, к скату, к тому самому открытому участку, по которому через минуту должны были потянуться трое моих.

Они молчали три часа, потому что ждали не нас. Они ждали, когда мы встанем и пойдём.

— Слушать сюда. Уходите все трое. Сейчас. Я задерживаюсь.

Эфир на секунду стал пустой.

— Насколько задерживаешься, — сказал Штырь, и это был не вопрос: у него в конце фразы не поднялся голос.

— Давай вдвоём, — сказал Батон, и это было самое длинное, что он произнёс за весь день.

— Там считают не людей, а точки, откуда бьют. Точек у меня две, и мне хватит одного меня. А скат трое проходят за сорок секунд, четверо — за минуту. Эти двадцать секунд у меня есть, и я их вам отдаю. Пошёл.

Батон встал первым. Проходя за моей спиной, он на полсекунды придержал ладонь у меня на лопатке — не хлопнул, а именно придержал, — и сказал одно слово, которое у нас двоих значило целый разговор:

— Прикрой.

— Прикрою. Иди, ешь.

Пасечник пошёл третьим и не оглядывался. Он только сказал в эфир тем же голосом, каким докладывал о смене позиции:

— Пасечник ушёл. Командир на точке.

Мы оба знали, что он сейчас сказал, и оба сделали вид, что это про смену позиции.

А Штырь оглянулся, открыл рот — и впервые за все годы, что мы переругивались, ничего не сказал.

— Иди. Ты мне должен три ответа и одну сигарету.

Он пошёл.

Дальше была работа, и работа эта была подробной, как всякая работа, за которую платят целиком. Две позиции, восемнадцать шагов между ними. Из первой — короткая очередь под неудобным углом, три патрона, ствол уводит вправо от отдачи, и я гасил это уводом плеча, а не рукой, потому что рукой на пределе уже не гасилось. Перекат — колени, локти, живот по земле, камень царапнул бедро через ткань, и я этого не почувствовал, почувствовал позже, когда прижался спиной к глине и понял, что штанина мокрая. Из второй позиции — две одиночные, с паузой между ними в две секунды, ровно две, не больше и не меньше, потому что человек по ту сторону считает не выстрелы, он считает ритмы, и ритм нужно было держать неровным нарочно. Снова перекат — на этот раз в другую сторону, чтобы силуэт менялся непредсказуемо. Из первой — длинная, на весь остаток короба, и я слышал, как последние патроны идут через ствол уже с перебоями, короб тряся в руках дробно, и я знал, что это последняя очередь, которую я вообще могу себе позволить.

Они поверили. Прижались и стали работать по гребню плотно, по всей длине, тратя на этих упрямых многочисленных свою ленту и своё время.

— ...головной прошёл поворот. Все прошли. Дорога пустая.

— Принял, — сказал я и пошёл на последний перекат.

Меня ударило на середине перебежки.

Не больно. Совсем не больно — просто мир на секунду встал наискось, каменистая крошка оказалась вдруг очень близко к лицу, каждый камешек отдельно, с тенью, длинной и чёрной, по линии огня. Металлический привкус во рту стал сплошным. Я успел подумать, что не дождал последние два шага и что это непрофессионально, и что Штырь мне это припомнит.

А в ухе ровно, спокойно, бесконечно шумела несущая.

Шум не кончился. Он не оборвался и не потемнел — он просто стал ниже тоном. Он тянулся, густел, опускался куда-то в живот и уже не был шумом связи, а стал гулом, тяжёлым и глухим, будто гудела не гарнитура, а сама земля где-то очень далеко, за многими километрами, за многими чем-то ещё.

И я лежал и слушал этот гул и думал: странно. Совсем не тот тон. Ни воя, ни хлестких резких хлопков — низко, тягуче, будто в бочку. Так не звучит. Так не звучало никогда.

Потом стало холодно.



Холод пришёл неправильный — не тот, что просачивается в щели снаряжения по одной, а сразу весь, целиком, снизу и с боков, сырой, наглый, никем не остановленный. Ничего не грело. Совсем ничего.

Я открыл глаза и увидел огонёк.

Дрожащий, жёлтый, с тонким чёрным хвостом копоти, который тянулся вверх и лизал бревно наката, оставляя на нём жирную полосу. Сплюснутая гильза, скрученный фитиль в жестяной трубочке. Керосин. За огоньком — земляная стена в потёках, тонкие брёвна над головой, между ними сыплется, и при каждом дальнем ударе сыплется сильнее — на плечи, в волосы.

Пахло карболкой. Под карболкой — мокрой шерстью, дымом, сырой глиной.

Я поднял руку.

Вот тут меня накрыло. Не смерть накрыла — смерть я, как выяснилось, пережил довольно спокойно, — а рука. Тонкая. Узкая в запястье. Пальцы длинные, ровные, костяшки гладкие, ни одного шрама, ни одной мозоли, кожа как у человека, который в жизни не держал ничего тяжелее ложки. Я сжал кулак — кулак получился маленький и какой-то жалкий. Разжал. Сжал снова. Пощупал вторую руку первой, прошёлся по предплечью: мышцы есть, но их мало и они не те. Плечи узкие. Рёбра близко. Сердце частит — сто с чем-то, при полном покое.

— Ну здравствуй, хозяйство, — сказал я вслух.

Голос вышел чужой. Высоковатый, звонкий, необмятый.

— Чего? — сказали справа.

Я повернул голову. На соседних нарах, на такой же соломе под такой же шинелью, сидел круглолицый парень с веснушками на переносице — ни к селу ни к городу эти веснушки были при том, во что он одет. Шинель на нём сидела как на вешалке, а рядом с нарами стояла, прислонённая, длинная винтовка с примкнутым игольчатым штыком, и штык этот доставал ему почти до плеча.

Я смотрел на винтовку четыре секунды. Она была настоящая. Она была не музейная, у неё цевьё потёрто ладонями до тёмного, и ремень брезентовый, разлохмаченный.

— Говорю, здравствуй, — сказал я как можно бодрее. — Себе говорю. Проверяю, на месте ли всё. Есть у меня такая привычка после того, как приложит.

— А, — с облегчением сказал парень. — Ну да. Тебя вон как приложило. Я думал, помрёшь.

— Не дождёшься.

Я сел. Мир качнулся, в затылке отозвалось тупо и длинно.

— Ты лежи, — испугался парень. — Тебе фельдшер сказал лежать до вечера.

— Фельдшер мне сказал, — согласился я. — А голова моя мне сказала, что если я ещё полчаса пролежу, она треснет по шву. Слушай, друг. У меня сейчас в черепе будто ведро с гвоздями трясут. Ты уж не серчай, я буду спрашивать глупости. После контузии всегда так, у нас один такой был — трое суток у всех спрашивал, как его зовут, а звали его в итоге не так, как он думал.

Парень засмеялся — коротко, нервно, слишком благодарно. Ему очень нужно было посмеяться, любому смеху обрадовался бы.

— Спрашивай.

— Тебя как?

— Прохор. Селиванов. — Он подобрался, будто на построении. — Мы ж вместе шли. Ты забыл?

— Прохор, — сказал я. — Хорошее имя. Крепкое. Такое имя не пропёшь и в карты не проиграешь. Слушай, Прохор, а меня как?

Он вытаращился.

— Гринёв ты. Андрей. Гринёв Андрей Кузьмич.

Кузьмич.

Что-то во мне за это слово ухватилося моментально, как за скобу в темноте. Андрей — чужое, Андрей — это вон тот, что лежал тут до меня, мальчик восемнадцати лет с гладкими костяшками. А Кузьмич — это можно. Кузьмич — это в самый раз.

— Гринёв Андрей Кузьмич, — повторил я. — Красиво. Помещик прям. Тебе не кажется, что с таким именем неприлично лежать на соломе?

— Не кажется, — сказал Прохор. — Тут все на соломе.

— Логично. Слушай, а лежу я тут давно?

— Со вчерашнего. Как самолёт над колонной прошёл, так и лёг. Тебя землёй накрыло по грудь, Гнатык с Ковалёвым откапывали, я каску твою держал. — Он поёжился. — Ты уж ничего не помнишь?

— Кусками. Вот самолёт помню. — Я не помнил никакого самолёта, но самолёт — это удобно, самолёт всё объясняет. — Ты мне лучше расскажи, я послушаю, у меня от чужого голоса в голове укладывается. Начни с самого дурацкого. С того, что и так все знают. Мне сейчас именно такое надо.

— С чего начать-то?

— С еды.

— Чего?

— С еды, Прохор. Что вчера давали, что сегодня давали, кто сколько получил. Кто у вас кашу раздаёт, тот про часть знает больше командира.

Он засмеялся, уже свободнее.

— Каша была вчера утром. Пшённая. А сегодня сухарь и вот это вот. — Он показал подбородком на мятую алюминиевую кружку, стоявшую у моего изголовья прямо на земляном полу. — Морковный. Старшина говорит, чай, а чаю в нём как в моём сапоге.

Я взял кружку. Холодная, с вмятиной на боку и тонкой рыжиной по кромке. На дне — тёмный сладковатый осадок.

— Старшина у вас кто?

— Гуляев. Он чаще бывает при первом взводе, к нам ходит редко. К нам ходит сержант.

— Сержант, — повторил я. — А сержант какой?

— Тяжёлый, — сказал Прохор с чувством. — Бортников Фрол Игнатьевич. Он не орёт совсем, ты не думай. Он скажет тихо — и как-то так скажет, что уж лучше б орал. Гнатык говорит, он с июля воюет.

— С июля, — сказал я. — Ну, значит, много чего видел.

— Много. — Прохор посмотрел на дверной проём, занавешенный куском плащ-палатки, и понизил голос. — Он вчера, когда тебя откапывали, стоял и смотрел, а потом сказал: «Копайте живее, он вам не покойник». А потом сказал, что если из нового пополнения кто ещё раз при самолёте побежит, а не ляжет, он с ним разговаривать не будет вообще никогда. Я тогда, знаешь, чуть не заплакал, честно.

— Побежал?

— Побежал, — сказал он и покраснел до самых веснушек. — Все побежали. Ну то есть мы легли потом. Но сначала побежали.

— Прохор, все сначала бегут, — сказал я. — Вообще все. Я тебе больше скажу: кто первый раз не побежал, тот просто не понял, что происходит. Понимание всегда приходит через ноги. Дальше уже вопрос, сколько раз ноги успеют тебя обмануть, прежде чем ты научишься их держать.

Он посмотрел на меня как-то странно.

— Ты откуда это знаешь?

— От деда, — сказал я не моргнув. — Дед у меня в германскую был. Он много рассказывал. Правда, врал через раз, но вот эту штуку про ноги я запомнил, потому что он её трезвый говорил. — Я отпил из кружки.

В кружке была сладковатая горькая бурда — не чай, не кофе, что-то морковное, пареное. И вот этот вкус — не голос, не винтовка, не шинель, а именно этот вкус на языке — начал договаривать за всех.

Пока я пил, где-то за плащ-палаткой прошли двое, тяжело топая, и один сказал другому лениво, не понижая голоса: «Опять заслонку с той избы просят, я говорю — бери сам, мне велено сено возить». Второй буркнул что-то в ответ, неразборчиво, и оба ушли, и разговор этот, совершенно пустой, ничего мне не говорящий, всё равно осел во мне ещё одним кирпичиком: тут была жизнь до меня, обычная, со своими заботами про сено и заслонки, и она текла независимо от того, помню я её или нет.

— Прохор. А стоим мы где?

— У деревни. Название спрашивать не спрашивал, а на карте её у сержанта видел, только он карту сразу свернул. Мы позавчера пришли, с марша сразу и стали копать. — Он вздохнул. — Копаем до сих пор. Лопат мало.

— Насколько мало?

— На нашу тройку одна. И лом.

— Одна лопата на троих, — повторил я медленно. — А в роте сколько народу?

— Ой, я не считал... Взводов три. Только они неполные все. У нас в отделении семеро вместо десяти, у второго вроде восемь. Ещё пулемёт у Ковалёва, ДП, один на всех.

— Один?

— Один. Был второй, да его при переправе бросили, там повозка ушла. — Он сказал это, разглядывая грязь на рукаве, как будто речь шла о потерянной варежке, и мне стало по-настоящему нехорошо.

— Слева от нас кто? — спросил я. — Соседи есть?

— Сержант вчера посылал Гнатюка искать. Гнатюк ходил полдня и вернулся, сказал — километра полтора никого, потом какие-то тыловые, обозные, а строевых нет.

Полтора километра открытого фланга. Я поставил кружку обратно на пол — аккуратно, ровно, чтобы не звякнула.

— А гудит с какого времени? — спросил я.

— С утра. — Прохор прислушался, наклонив голову к бревенчатому накату, откуда сыпалась земля. — Вон, слышишь? Оно с рассвета и не перестаёт. Гнатюк говорит — далеко, километров тридцать, нас не касается. А мне не нравится.

— Чем не нравится?

— Ровное очень, — сказал он и передёрнул плечами. — Дождь, когда идёт, он то сильнее, то слабее. А это ровное.

Я посмотрел на этого веснушчатого мальчишку с уважением, которого он никогда в жизни не поймёт.

— Прохор, — сказал я. — А сегодня какое число?

— Второе, — сказал он. — Октября. Четверг, кажись. А может, среда.

— А год? — спросил я, и сам себе удивился, до чего ровно это прозвучало.

Прохор захохотал, хлопнув себя по колену.

— Ну ты даёшь! Сорок первый, конечно! Ты чего, вправду всё позабыл?

— Проверял тебя, — сказал я. — Ты выдержал.

Внутри стало очень тихо и очень ясно — той ясностью, которая приходит, когда доклад закончен и добавить к нему уже нечего. Сорок первый год. Второе октября. Запад гудит и не перестаёт. Роты неполные, лопата на троих, слева полтора километра пустоты.

Я знал, что это за гул. Я не помнил ни чисел, ни номеров армий, ни фамилий командующих — я вообще не был силен в датах, я был силен в другом. Но одно я знал наверняка, как знает всякий, кто вырос там, откуда я пришёл: осенью сорок первого под Вязьмой случилось то, о чём потом писали коротко и страшно. Через несколько дней кольцо замкнётся, и из него выйдут очень немногие. А для людей, которые сейчас наверху стучат единственной лопатой, это называется просто «завтра».

— Ты чего? — испугался Прохор. — Побледнел весь. Лечь тебе?

— Голова, — сказал я. — Пройдёт.

— Точно пройдёт?

— Точно. У меня всё проходит, я живучий. — И — сорвалось. Так бывает, когда держишь долго и не удержал: — Прохор. Слушай меня внимательно. Что бы завтра ни было, держись рядом со мной и делай, что я скажу. Даже если будет казаться, что я дурак.

Он моргнул.

— А чего завтра будет?

И я тут же, не давая своей фразе повиснуть, подхватил её и утащил в сторону:

— Каша будет. Я в это верю всей душой. А казаться, что я дурак, будет часто, я тебя предупреждаю сразу, чтоб ты потом не разочаровался. Вот, гляди, уже кажется: я до сих пор не знаю, как эту вашу шинель застёгивать, чтоб она на мне не висела, как хомут на пугале. Показывай.

— Как это не знаешь? Ты её месяц носишь!

— Прохор. — Я постучал себя пальцем по виску. — Ведро. Гвозди. Трясут.

— А! — сказал он с готовностью. — Ну смотри, тут просто. Крючок вот сюда, а хлястик сзади подтянуть, чтоб полы не мотались...

Он показывал, а я застёгивал крючки чужими тонкими пальцами и слушал, как далеко на западе гудит земля. Пальцы не слушались — крючок соскакивал дважды, и на третий раз я поймал его, наконец, вслепую, на ощупь, и застегнул до конца, и это тоже было маленьким унижением, из тех, которых за один этот день набралось уже с десяток: чужое тело не хотело подчиняться сразу, и его приходилось уговаривать заново на каждую мелочь.

За плащ-палаткой гул не менялся: ровный, без пауз. Прохор всё ещё возился с хлястиком, а я никак не мог перестать слышать за этим гулом кольцо, которое ещё не было видно никому в этой землянке.

— Ты чего застыл? — спросил Прохор. — Крючок не тот?

— Крючок тот, — сказал я и встал. — Пойдём наверх. Мне надо посмотреть, как вы тут закопались.

Я взял чужую винтовку, и она оказалась тяжелее, чем должна была быть.

У самого выхода, там, где плащ-палатка была откинута и в щель тянуло стылым воздухом с улицы, я остановился на секунду и оглянулся на землянку — на низкий накат, на огонёк коптилки, на смятую солому, на которой лежал чужой мальчик по имени Андрей, прежде чем в него пришёл я. Ничего из этого мне не принадлежало, и всё это теперь придётся считать своим — до самого конца, каким бы этот конец ни оказался.

— Ты идёшь или нет? — спросил Прохор из-за спины.

— Иду, — сказал я и толкнул плащ-палатку плечом.

## Глава 2. Сто шагов пустого



Наверху была осень.

Я вылез из землянки и минуту стоял, привыкая. Не к свету — к масштабу. Небо низкое, охристо-серое, тускнеющее; над дворами низко висит печной дым, смешанный с сыростью; земля рыжевато-бурая, свежеразрытая, липнет к сапогам комьями. Плетни. Соломенные крыши. Хлев с распахнутой дверью, оттуда тянет навозом и пустотой. С ближнего двора несёт палёной соломой — тлею и не догорело.

И линия. Стрелковые ячейки неполного профиля, кое-где соединённые ходами, кое-где нет. Люди в них копают вразнобой, глухо стучат лопаты, и я минуты полторы смотрел на одну тройку, пока не понял, что меня в ней царапает: у них одна лопата. Одна лопата и короткий лом на троих. Они передают её по кругу, как папиросу.

Я прошёл вдоль линии, считая. Считать я умею. Ячейки, интервалы, что откуда видно, куда ляжет тень через полчаса, где мёртвая зона, где человек, залёгший в кустарнике, окажется невидим до сорока шагов.

Ноги гудели с первых же шагов — не от усталости, усталости в этом теле пока не набралось, а от того, что каждая ступня ставилась на землю иначе, чем я привык, короче, чаще, с этим восемнадцатилетним нетерпением, которое само рвалось вперёд быстрее, чем требовалось для дела. Я себя одёргивал: не спешить, идти шагом человека, который смотрит, а не идёт куда-то.

Слева, у крайнего двора, стоял на сошках ручной пулемёт с плоским диском сверху, и двое при нём перебирали снаряжённые диски, шевеля губами.

— Много осталось? — спросил я, присаживаясь рядом на корточки.

Первый номер, рыжеватый, лет двадцати пяти, поднял на меня глаза.

— Тебе зачем?

— Знать хочу.

— Знать он хочет. — Он усмехнулся невесело. — Четыре полных, пятый неполный. Считаю на глаз, вываливать жалко, потом набивать полдня.

— А сколько в неполном?

— Штук тридцать. Может, тридцать пять.

— Ковалёв ты?

— Ковалёв. А ты Гринёв, которого откопали.

— Он самый. — Я посмотрел вдоль бруствера, туда, вправо, где линия обрывалась. — Ковалёв, а сектор у тебя куда?

— До вон той берёзы кривой. Дальше меня земля закрывает, там бугорок.

— А за бугорком?

— А за бугорком не моё дело, — сказал он с раздражением. — За бугорком вторая точка, вон, метров сто. Пусть они смотрят.

— Так они тебя тоже не видят из-за бугорка.

Ковалёв помолчал, отложил диск.

— Ну не видят, — сказал он уже другим тоном. — И что ты предлагаешь, откопанный? У меня людей нет, у них людей нет. Я туда что, свою бабушку поставлю?

— Я пока ничего не предлагаю. Я смотрю.

— Ну смотри, — сказал он. — Только сержанту на глаза так не попадайся, он не любит, когда смотрят и не копают.

Я пошёл дальше и посмотрел на этот промежуток нормально, не спеша.

Сотня шагов жнивья и кустарника. Просто лежала. Открытая, пустая.

Через неё, если идти от опушки дальнего леса вниз по колее, в деревню можно было войти спокойно, как в собственные сени. И колея туда шла — не левее, не правее, а точно в середину.

Я даже рот открыл, чтобы крикнуть на всю линию: «У вас стык голый!» — и тут же его закрыл, потому что понял очень простую и очень унижительную вещь. Мне здесь нечем кричать. Мне никто не ответит и меня никто не услышит, потому что я — восемнадцатилетний, узкоплечий, вчера откопанный из земли, с чужой длинной винтовкой, которую я даже за спину пока приноровился вешать неправильно.

У бруствера стоял боец с ракетницей и брезентовым подсумком, перебирая гильзы пальцами.

— Ты чего их щупаешь? — спросил я.

— Сортирую.

— Так они ж все одинаковые на ощупь.

— Не одинаковые, — сказал он, не оборачиваясь. — У этих закраина шире. Ночью цвет не разберёшь, а рукой разберёшь. Меня связной ротный научил, я теперь всегда так.

— А порядок какой?

— Порядок простой. — Он всё-таки повернулся, и я увидел усталое лицо человека лет тридцати. — Одна красная — вижу противника перед фронтом. Две красных подряд — противник прорвался, поддержи огнём. Зелёная — свои идут спереди, не стреляй. Белая — осветить. Всё.

— А если мне надо передать не «вижу противника», а «противник вон в том конкретном месте»?

Он посмотрел на меня как на слабоумного.

— Так ракета ж не пищит. Ракета показывает, что стряслось. А где — сам сообрази или посыльного шли.

— Посыльный сколько бежит до второй точки?

— Минуты три. Если по ходу — четыре. Если по верху — две, но по верху днём не побежишь.

— Спасибо, — сказал я. — Ты мне очень помог.

— Чем это?



— Тем, что напомнил, где я живу.

Он пожал плечами и вернулся к своим гильзам, а я стоял и мысленно хоронил эфир. Ни голоса на весь участок, ни доклада в реальном времени, ни картинки. Только глаз, только заранее уговорённый знак в небе, только ноги посыльного и две минуты, которые эти ноги стоят.

Ладно. Работали и так. Мы и сами так работали, когда всё падало разом. Только там у нас были жесты, отработанные годами, и три человека, знающих меня как облупленного. А тут — семеро незнакомых, одна лопата и сержант, который меня в глаза не видел.

Командир отделения нашёлся на середине линии — невысокий, сбитый до плотности чугуна мужик лет сорока пяти, с тяжёлым обветренным лицом и глубокой поперечной морщиной через лоб. Он молчал, и от его молчания морщина становилась резче. Потом сказал, не повышая голоса, и вот этот голос не перекричал бы никто:

— Ковалёв, второго себе бери Гнатыка, он у тебя всё равно полдня трётся. Селиванов сюда. Дьячков, лопату отдай, ты десять минут ею греешься, а не копаешь.

— Товарищ сержант, — сказал я.

Он посмотрел на меня так, как смотрят на телегу, которую надо обойти.

— Ты кто?

— Красноармеец Гринёв. Которого вчера откопали.

— Живой?

— Живой.

— Иди копай.

— Пойду, — сказал я. — Я только одно скажу и пойду.

— Не надо мне твоё одно.

— Тридцать секунд, товарищ сержант. Я потом хоть до утра копать буду, у меня к лопате претензий нет.

Он остановился. Это уже было кое-что: он остановился.

— Говори.

— У вас между пулемётом Ковалёва и второй точкой сотня шагов пустого. Ковалёв видит до кривой берёзы, дальше ему бугор закрывает. Вторая точка тоже видит до бугра со своей стороны. И вот ровно в этот непросматриваемый кусок из лесу идёт колея. Не левее, не правее — в него.

Он молчал ровно пять секунд. Морщина стала как ножом.

— Ты линию обходил?

— Обошёл.

— Кто велел?

— Никто. Ноги сами.

— Ноги сами, — повторил он. — А голова где была?

— Голова считала, товарищ сержант.

— Ну и сколько насчитала?

— Сто шагов. И полтора километра слева, где Гнатык вчера ходил и никого не нашёл.

Он посмотрел на меня внимательнее, чем в первый раз. Так смотрят, когда телега вдруг заговорила.

— Людей нет, — сказал он наконец. — Умный какой. Всё, что ты мне сказал, я знаю со вчерашнего вечера. Я ротному про это докладывал. Ротный докладывал дальше. Мне ответили: держать фронт по указанному рубежу наличными силами. Наличные силы — семеро в отделении, из них двое из пополнения, которые вчера от самолёта бегали. Хочешь, я тебя туда одного поставлю? Иди, стой. Прикроешь сто шагов своей грудью.

— Людей я и не прошу, — сказал я. — Я не про людей.

— А про что ты?

— Про то, что дозор в сумерках смотрит не глазами, а привычкой. Он смотрит на силуэт. Если на бруствере в этом промежутке будет стоять что-то, что издали похоже на пулемёт, — он туда не полезет. Он ляжет и будет минут пять решать, как это обойти. А пока он решает, вы успеете перебросить Ковалёва на левый угол и встретить его сбоку.

Тут сержант повернулся ко мне всем корпусом.

— Ты в армии сколько?

— Пятый день.

— Пятый день, — сказал он. — И ты мне будешь рассказывать, куда я успею перебросить Ковалёва.

— Я вам не рассказываю. Я вам предлагаю.

— А ты знаешь, чем твоё предложение кончится?

— Знаю два конца, товарищ сержант. Первый: они посмотрят, увидят пулемёт и обойдут. Второй: они посмотрят, увидят пулемёт и станут его давить. И вот второй мне нравится даже больше первого, потому что давить они его будут долго, старательно и с того места, которое я заранее знаю.

Он молчал секунд восемь. А потом сказал в сторону, не мне, куда-то мимо моего плеча, в темнеющее поле, злым и тихим голосом человека, который договаривает старый разговор:

— Был у меня один. Клюев. Тоже сообразительный. Тоже пришёл, тоже за тридцать секунд. Тоже: «товарищ сержант, я придумал». Троиш увёл, один вернулся. Я его матери письмо писал в августе, я до сих пор не помню, чего я в том письме наврал и сколько раз.

Он замолчал. Я стоял и не мешал ему молчать, и это было, наверное, единственно правильное из всего, что я в тот вечер сделал.

Потому что я понял: спорить с ним бессмысленно. Он спорит не со мной. Он спорит с покойником, а покойник у него всегда выигрывает.

— Что молчишь? — сказал он наконец.

— Думаю, чем вам заплатить, — сказал я.

— Чего?

— Товарищ сержант, вы сейчас считаете не мою затею. Вы считаете, во сколько людей она вам обойдётся, если я дурак. Правильно считаете. Я бы на вашем месте так же считал. Так вот давайте я вам цену назову сам, и вы посмотрите, годится она вам или нет.

— Ну, называй.

— Ни одного человека с линии. Ковалёва не трогаю, вторую точку не трогаю, Гнатыка не трогаю, копающих не трогаю. Материал — бросовый: жерди из плетня у холодной избы, заслонка с печи оттуда же, вёдра дырявые, солома от сарая, тряпье из сеней. Ничего казённого. Время — полчаса до темноты. Работник — я один.

— Один ты полчаса будешь одну жердь тащить.

— Тогда дайте мне Селиванова, — сказал я. — Он у вас всё равно руки в карманах держит, я видел. Если затея дурная, вы потеряете полчаса работы двух самых бесполезных бойцов отделения. Меня и его. Больше ничего.

Сержант шевельнул челюстью.

— Заслонка, — сказал он с тяжёлым сомнением. — Ты мне объясни, как чугунная заслонка станет пулемётом. Я, может, чего не понимаю.

— Она станет не пулемётом, а кожухом. Она чёрная, плоская и правильного размера. Я её кладу плашмя поверх связки жердей, жерди из-под неё торчат вперёд с наклоном вниз — вот вам ствол. Под жерди — рогатины из кольев, вот вам сошки. Вёдра в ряд, перевёрнутые, — вот вам бруствер на локоть высотой. Сверху солома и мешковина, чтобы край был лохматый.

— Зачем лохматый?

— Затем, что ровное видно за версту. Ровное кричит человеку, что тут полчаса назад работали руками. А лохматое и кривое кричит, что тут живут третьи сутки.

Сержант смотрел на меня очень долго. У него в глазах было что-то, чему я не сразу подобрал название, а потом подобрал: он прикидывал, где я вру.

— А если они не поверят? — сказал он. — И полезут прямо туда?

— Тогда они полезут туда, где их ждут, товарищ сержант, а не туда, где их нет. Мне вот это и надо. Я не обещаю, что они не пройдут. Я обещаю, что они пройдут не там, где хотят, а там, где хочу я. И что перед этим они постоят.

— Сколько постоят?

— Минуты три. Может, пять.

— Три минуты, — повторил он.

— Ковалёва перетащить хватит?

Он опять помолчал.

— Хватит, — сказал он.

Потом сплюнул под ноги.

— Гринёв.

— Я.

— Полчаса. Селиванова забирай. Ничего казённого не трогать, кроме плетня и заслонки. Если хозяин вернётся, отвечать будешь ты сам, лично, и я тебе в этом не помощник. Через полчаса оба в ячейку, и чтоб я вас больше не слышал ни одной минуты. Понял?

— Есть.

И, разворачиваясь, услышал за спиной негромкое:

— И не подставься там. Мне ещё писем не хватало.

Плетень я драл руками, и плетень оказался жаднее, чем я думал. Ивовые прутья сидели плотно, лыко держало, и там, где полагалось хрустнуть, оно тянулось и не рвалось. Я упирался ногой, дёргал, дёргал ещё — и вытащил три длинные ореховые жерди вместе с половиной ладонной кожи. Занозы вошли под кожу сразу десятком.

— Ты чего смеёшься? — спросил Прохор, волоча за собой два ведра, которые гремели на всю деревню.

— Над руками своими. Прохор, у меня руки как у гимназистки.

— У тебя всегда такие были.

— Вот именно. Обидно. И не греми ты, ради бога.

— А чего греметь-то нельзя, до леса вон сколько.

— До леса версты полторы. Полторы версты вечером по сырому — это, Прохор, ничто. Звук в сумерках стелется. Вот ты в деревне жил — далеко слышно, когда вечером ведро уронишь?

Он подумал и присмирел.

— Далеко, — признал он. — У нас на другом конце слышно.

— Ну вот. Неси на весу.

Печную заслонку я нашёл в третьей избе — холодной, брошенной, с распахнутой дверью и опрокинутой лавкой. Я постоял на пороге секунду дольше, чем требовалось: в сенях пахло мышами и остывшей золой, на гвозде у притолоки висел детский зипунишко, слишком маленький для сегодняшних детей, а на лавке лежала забытая, скрученная в трубку тряпица — то ли онуча, то ли пелёнка, не разобрать. Кто-то отсюда уходил в спешке и не всё унёс. Я не стал об этом думать долго — думать было некогда, и это тоже было маленьким унижением: в прежней жизни я умел не думать о таком мгновенно и без усилия, а тут пришлось заставлять себя.

Я не видел заслонку в темноте, я нашупал, и по весу, по гладкой копоти под ладонью, по зазубренной от старой трещины кромке понял: годится. Тяжёлая, зараза. Прежними руками — как книжка. Этими — я нёс её к брустверу двумя, прижав к животу, и на середине двора пришлось поставить её на землю и отдышаться, и это было первое настоящее унижение того дня.

— Дай я, — сказал Прохор.

— Донесу.

— Да ты стоишь весь белый.

— Прохор, — сказал я, — я её донесу, и знаешь почему? Потому что если я её сейчас не донесу, то я и завтра ничего не донесу, и послезавтра, а мне надо, чтоб я через месяц её одной рукой носил. Так что не мешай, я тут занимаюсь воспитанием.

— Чьим?

— Своим собственным. Самое неблагодарное дело на свете.

Дальше пошло быстро.

Две самые прямые жерди легли на бруствер и вперёд под тем самым наклоном, под которым стоит ствол на сошках, — не горизонтально, ни в коем случае не горизонтально, а с лёгким опущением к полю. Рогатины из коротких кольев подпёрли их снизу и дали ту самую расставленную двуногу, которая узнаётся в силуэте раньше, чем сам ствол. Заслонка легла плашмя поверх, у основания, и превратила связку прутьев в толстый чёрный кожух. Дырявые вёдра, перевёрнутые и составленные в ряд, дали объём — короткую линию бруствера, невысокую, ровно на локоть.

А потом я взял солому и мешковину и стал портить.

— Ты чего делаешь? — возмутился Прохор. — Я ж ровно уложил!

— За это тебе спасибо, а теперь я это испорчу.

— Зачем?!

— Затем, Прохор, что обман портят. Обязательно. Это самое главное и это единственное, чему я так и не смог никого нормально научить. — Я разлохматил край соломой, набросал её неаккуратно, кусок мешковины растянул между двумя кольями криво, с провисом, так, чтобы в сумерках он дал плоскую грязную тень, и вывалил на левый угол ком тряпья — просто ком, будто кто-то бросил шинель и забыл. — Ровное бывает только у покойников и у отличников. А живое всегда криво. Вот скажи: у вас в деревне кто-нибудь плетень ставил ровно?

— Ставил. Дядька Митрофан.

— И что про него говорили?

— Что чудной.

— Ну вот. Не будем чудными. Отойди на сорок шагов и глянь.

Он отошёл. Постоял. Вернулся с круглыми глазами и почему-то шёпотом:

— Ох. Ох, Андрюха. Он там правда стоит.

— Стоит, — сказал я. — И с сорока шагов за человека сойдёт. Ты только не маячь рядом, а то немцы разберутся, кто из вас двоих слишком живой.

— А если они прямо в него стрелять начнут?

— Пусть начинают. Заслонку не жалко, печь всё равно холодная.

— А как они узнают, что он ненастоящий?

— Никак, — сказал я. — Пока он молчит — он живой. Как только он выстрелит — он мёртвый, потому что оттуда стрелять некому. Поэтому наша с тобой задача, Прохор, чтоб он никогда в жизни не выстрелил. Пусть просто стоит и смотрит.

Оставалось последнее и самое противное: перебросить на левый угол пару жердей для подпорки, а лежали они за канавой. Канавка была шагов пять шириной, неглубокая, заросшая по краям поблёкшей осокой, на дне сырая глина. Я знал эту канаву. Я через тысячи таких ходил. Тело у меня само уже присело для низкого броска — коротко разбежаться, толкнуться левой, уйти вниз и в сторону, погасить перекатом.

— Обойди, тут в двух шагах доска положена! — крикнул Прохор.

Я толкнулся левой.

И понял на середине полёта, что толчок вышел детский.

Нога соскользнула по мокрой глине, тело завалилось на бок неправильно, локоть встретил твёрдый край, колено — камень. Что-то во мне хрустнуло, но не сломалось. Дыхание вышибло начисто. Я лежал в осоке, глотал ртом воздух, и мне было даже не больно, мне было унижительно до слёз.

Сорок восемь лет, осколок в бедре, спина, колено — и я делал это движение не думая. А тут — восемнадцать лет, здоровое, целое, нетронутое тело — и оно не смогло.

— Андрей! Андрюха! — Прохор скатился ко мне, схватил под мышки. — Живой?

— Живой, — прохрипел я. — Помоги встать.

— Ты чего попёрся-то через неё? Я ж кричал — доска!

— Слышал.

— А чего тогда?

— По глупости, Прохор. Есть у меня такая привычка: думать, что я умею то, чего уже не умею. — Я поднялся, держась за него, попробовал колено. Держало. — Ничего. Научимся заново. Всё, что один раз выучил, второй раз учится веселее. Жерди подай. Сам подай, я тебя умоляю, у меня лапы отваливаются.

— Ты ж говорил, воспитанием занимаешься.

— Занимаюсь. Но с перерывами.

Прохор потащил жерди, а я стоял, держась за колено, и смотрел на поле.

Сумерки из серых становились синими — тот самый свет, в котором глаз перестаёт различать подробности и начинает достраивать их сам. Лучшее время для того, что мы поставили. И лучшее время для тех, кто пойдёт.

Пока Прохор возился с последними жердями, я стоял и слушал деревню за спиной — оттуда доносился редкий стук лопаты, чей-то надсадный кашель, и вдруг, коротко, детский плач — не наш, чужой, из уцелевшей избы на другом конце, где, видно, ещё оставались хозяева, не успевшие или не захотевшие уйти. Плач оборвался так же быстро, как начался, будто ребёнка прижали к груди и заставили замолчать. Я посмотрел на тёмное окно той избы и прикинул, сколько шагов от него до нашей линии: сегодня ночью там тоже будут слушать гул с запада, только без моей арифметики и без моего знания про кольцо.

Со стороны леса, там, где колея выходила из-под деревьев, коротко тронулось жнивье. Один раз. Будто кто-то сошёл с накатанного и тут же вернулся обратно.

Я опустил в ячейку так медленно, как только мог.

— Прохор, — сказал я одними губами. — Ложись. Они идут.

### Глава 3. Он там правда стоит



Прохор упал рядом со мной в ячейку, лицом в холодную рыжую землю, и я услышал, как у него стучат зубы.

Дальше я их слышал, а не видел. Шаги они глушили — шли по колее, где убитая колёсами земля не шуршит.

— Прохор, — сказал я одними губами. — Не дыши ртом. Носом дыши. И не поворачивай голову резко, поворачивай медленно.

— Почему?

— Потому что глаз ловит движение, а не человека. Медленное он пропускает.

Восемь человек. Может, девять. Двое впереди с короткими штуками у бедра, за ними расчёт — первый номер несёт длинный, на сошках, второй тащит короба.

Они дошли до середины пустого промежутка спокойно, буднично, как ходят люди, которые сто раз это делали и знают, что тут пусто.

И встали.

Передний вскинул карабин и держал ложную точку на прицеле — долго, я успел досчитать до девяти. Второй присел на колено. Расчёт, не дожидаясь никаких команд, сошёл с колеи влево и стал разворачивать пулемёт — туда, на чёрный неподвижный силуэт с провисшей мешковиной и брошенным комом тряпья.

Я лежал, вжавшись щекой в холодную рыжую землю, и смотрел, как восемь взрослых, опытных, хорошо обученных мужчин на моих глазах поверили трём жердям, чугунной заслонке и трём дырявым вёдрам.

Я почувствовал не торжество. Не торжество. Я почувствовал то же, что чувствовал всегда в этот момент, все двадцать с лишним лет: тихую, нехорошую жалость к тому, кого сейчас обманули. Потому что человек, который смотрит на силуэт, не виноват. Он просто человек, и он смотрит туда, где, по всему его опыту, должна быть опасность.

Слева от меня, у крайнего двора, в этот момент уже перетаскивали пулемёт.

Бортников не стал ждать. Он двинул Ковалёва на левый угол ещё пока дозор считал шаги, и я слышал, как они идут — не бегом, а тем длинным, пригнутым, воровским шагом, каким носят тяжёлое, когда шуметь нельзя. Диск звякнул о диск. Кто-то придержал сошки ладонью, чтоб не брякнули. Потом всё стихло, и стало слышно только, как на той стороне поля разворачивают своё.

Первый номер их расчёта лёг за сошки, второй присел справа и подал ленту. Я видел его горб на фоне неба и считал про себя: раз, два, три. На «три» он поднял голову, чтобы посмотреть, куда ляжет.

МГ ударил.

Он бил длинно, зло и щедро, как бьют по обнаруженной позиции, которую надо задавить сразу и наверняка. Заслонка загудела, будто в неё кинули горсть камней, — и лопнула по старой трещине с высоким, обиженным звоном, и половина её ушла в темноту. Жерди подсекло. Ведро сорвало с бруствера, оно взлетело, кувыряясь, и упало где-то за нашими спинами, и Прохор дёрнулся на этот звук всем телом.

— Лежи, — сказал я ему в затылок. — Это по чучелу. Это не по нам.

Вторая очередь прошла по тому же месту. Солома вспыхнула — не загорелась, а именно вспыхнула на секунду и погасла, и в этой секунде я увидел их всех: восьмерых, залёгших цепью вдоль колеи, лицом туда, в мою мешковину, спиной и боком — к крайнему двору.

Ковалёв дал с левого угла.

Он взял их поперёк, от ближнего к дальнему, и первый диск ушёл в три приёма — сорок семь патронов, я считал вместе с ним, потому что считать я не научился ни в одном теле. Он бил правильно: короткими, с проводкой, не задирая ствол. Кого-то ударило сразу — я услышал, как человек коротко вскрикнул и оборвался на середине звука, и это был очень нехороший звук, я его знаю.

Их расчёт разворачивался. Первый номер сумел — он рвал сошки на себя, чтобы перебросить ствол влево, на новую вспышку, и почти успел. Я увидел, как он вскинулся, чтобы поймать угол, — и тут его достало. Он лёг на свой пулемёт сверху, боком, и лента под ним встала.

Второй номер потащил его назад за воротник. Не бросил. Потащил один, задом, упираясь каблуками в колею.

— Гринёв! — заорал слева Ковалёв. — Диск!

Второй диск был у Гнатыка, а Гнатык лежал в двадцати шагах правее меня, у самого края. Он приподнялся на колено, чтобы бросить, — и в этот момент по нашей стороне прошла очередь с дальнего края их цепи, оттуда, где ещё оставались живые и злые.

Гнатык сел. Сел ровно и удивлённо, как садятся на стул.

Я дошёл до него на четвереньках, по-собачьи, быстрее, чем успел решить, что иду. Диск он держал обеими руками и не отдавал.

— В плечо, — сказал он мне сверху, недоумевая. — Слышь? Оно в плечо.

— Отдай диск.

— Оно навывлет, слышь?

— Отдай диск, Гнатык.

Он разжал пальцы. Я взял диск, и его тяжесть сразу потянула мою руку вниз, выворачивая непривычно слабое плечо, — эти чужие тонкие руки держали двенадцать фунтов железа так, будто держали наковальню. Я пополз с ним влево, к Ковалёву, и полз, наверное, секунд двадцать, и за эти двадцать секунд успел много о себе подумать.

Ковалёв выхватил диск не глядя, посадил, дёрнул затвор.

И дал по колее последний раз, длинно, вслед.

Дозор откатился. Они уходили правильно, огрызаясь, прикрывая друг друга, волоча своего первого номера по земле, и через минуту в поле не осталось ничего, кроме темноты и



посечённой мешковины, которая всё ещё висела на кольях и всё ещё, зараза, была похожа на позицию.

Гнатыку прошло навывлет, в мякоть. Он матерился так изобретательно, что я половину слов услышал впервые в жизни, и это, честное слово, было хорошим признаком.

Фельдшер пришёл минут через десять — не бегом, а тем ровным нестрашным шагом, каким ходят люди, привыкшие к чужой крови настолько, что спешка им только мешает. Он присел над Гнатыком, разрезал рукав ножницами, посветил спичкой, зажатой в кулак так, чтобы огонёк не бил в глаза раненому, и, не отрывая взгляда от раны, сказал:

— Сквозное. Кость не задета, ты счастливый. Потерпи, сейчас перевяжу, будет щипать.

— Щипать, — повторил Гнатык с истерическим смешком. — Оно горит, а не щиплет.

— Значит, будет гореть, — согласился фельдшер, не поднимая головы от бинта, и от этого равнодушного согласия Гнатык как-то сразу успокоился, будто ему подтвердили что-то важное.

Я держал ему котелок с водой, пока фельдшер работал, и смотрел, как трясутся у Гнатыка колени — крупно, мелко, попеременно, — и думал о том, что у меня самого руки не трясутся, и не понимал, хорошо это или плохо.

Когда стало совсем темно, ко мне подошёл сержант.

Он остановился рядом, посмотрел в поле, потом на меня. Морщина через лоб.

— Заслонку разбило, — сказал он.

— Заслонку не жалко, товарищ сержант. Печь всё равно холодная.

— Хозяин вернётся — ты ему это скажешь.

— Скажу. И новую поставлю, если руки будут.

Он помолчал. Достал кисет, свернул самокрутку, но не закурил и сунул её за отворот.

— Три минуты ты обещал.

— Обещал.

— Простояли они больше. Я считал. Минуты четыре, а то и все пять.

— Значит, повезло.

— Повезло, — согласился он. — А если б не повезло?

— Если б не повезло, они бы прошли через стык, как и прошли бы без всякой моей заслонки. Хуже, чем было, я сделать не мог, товарищ сержант. Я это посчитал раньше, чем к вам подошёл.

Он посмотрел на меня очень долго.

— Ты вот что, — сказал он наконец. — Завтра с рассветом стык этот всё равно голый останется. Людей мне не дадут, я утром опять спрошу, и мне опять не дадут. Я тебя знаю с сегодняшнего дня и знаю плохо, поэтому слушай внимательно. Придумаешь ещё чего — скажешь мне. До света. Не после, а до. Придумаешь после — я слушать не стану, хоть ты мне там гений будь. Понял, Гринёв?

Он назвал меня по фамилии.

Мелочь. Совершенная мелочь, ничего не значащая, шесть букв. А я стоял и чувствовал, как эта мелочь ложится мне на плечи всей тяжестью, какая бывает у мелочей.

Потому что вот оно и случилось. Час назад я был никто — щенок, которого можно послать копать. Сейчас мне сказали: придумаешь — скажешь до света. То есть теперь от меня ждут. То есть теперь, если я ошибусь, ошибку заметят и запомнят, и стоять она будет не моих полчаса, а чьей-нибудь спины.

Я знал этот вес. Я его двадцать лет носил и умел носить. Только носил я его тем телом, которое сегодня не смогло перепрыгнуть канаву.

— Есть, товарищ сержант, — сказал я. — До света.

— И ещё, — сказал он, уже отворачиваясь. — Ты откуда такой?

Вот тут у меня внутри всё остановилось и стало очень внимательным.

— Из-под Наро-Фоминска, — сказал я. — Деревня Кузнецово.

— Я не про это спрашиваю.

— А про что?

— Про то, что ты второй день в роте и уже линию обошёл, а Дьячков третий месяц ходит и до сих пор не знает, где у него сосед справа.

— Ну так Дьячков лопату держит, а я вчера лежал без дела, — сказал я. — Товарищ сержант, у меня дед в германскую был, я у него в детстве все уши просидел. Он мне про такие шуточки рассказывал вместо сказок. Я потом в школе на карте с мальчишками играл, кто откуда зайдёт. Дурь, конечно, а вот в голове осело.

Он смотрел на меня ещё секунду. Ровно на одну секунду дольше, чем мне было бы приятно.

— Дед, значит, — сказал он.

— Дед.

— Хороший у тебя дед был.

— Хороший, — сказал я. — Врал через раз, но хороший.

Он кивнул и пошёл вдоль линии, тяжело переставляя ноги.

Я не пошёл за ним и не стал ничего добавлять — а хотелось, у меня в горле стояло слов на полчаса, и все они были не нужны. Я вернулся к Гнатыку уже после перевязки. Он сидел, прижав локоть к боку, и следил, как фельдшер убирает бинты в сумку.

— Ты, что ли, чучело это ставил? — спросил Гнатык сквозь зубы.

— Я.

— Дурак, — сказал он с чувством. — Кабы ты его не ставил, меня б не зацепило. Они б прошли, и всё.

— Прости бы, — согласился я. — И вышли бы Ковалёву в спину, потому что он в ту сторону не смотрит. И его первого бы и положили, а тебя вторым, а Селиванова третьим, и никакого котелка ты бы уже не держал.

Гнатык подумал.

— Всё равно дурак, — сказал он, но уже без души. — Больно, зараза.

— Будет больно ещё сутки, потом станет чесаться, и вот тогда взвоешь по-настоящему. Ты, главное, левой рукой пока писать научись. У меня знакомый был, ему в плечо трижды попадало, так он после этого левой стал писать красивее, чем правой, и на почерк ему потом в военкомате завидовали.

— Врёшь ведь.

— Вру, — сказал я. — Но ты же улыбнулся.

— Не улыбался я.

— Улыбался. Я видел.

К обозу Гнатыка унесли на плащ-палатке ещё затемно, до того как небо начало сереть, и я не пошёл провожать — не потому что не хотел, а потому что знал за собой эту слабость: если провожать каждого, кого унесли, к декабрю не останется сил ни на что другое. Прохор пошёл, подержал полог, пока Гнатыка укладывали на телегу, и вернулся притихший, долго сидел на краю ячейки, глядя в темноту, и я его не трогал.

Потом я вылез из хода сообщения и постоял на краю своей ячейки.

Ночь была холодная, чистая, с редкими звёздами между рваными облаками. Пахло прелой соломой, мокрым железом и сырой землёй. Позади, в деревне, кто-то стучал лопатой — упрямо, вразнобой, до сих пор.

А на западе, за чёрной полосой леса, гудело.

Оно гудело весь день, и все к нему привыкли, как привыкают к дождю за стеной. Прохор сказал давеча: «С утра гудит и не перестаёт», — и в его голосе не было ничего, кроме досады

на плохую погоду. Никто на этом рубеже не слышал в этом звуке ничего особенного. Далёкая канонада, ну и что.

Я слышал.

Не потому, что я умнее, — а потому, что я знаю, как звучит объём. Это был не бой. Бой звучит рвано: удар, пауза, ещё удар. А там, за лесом, звук был ровный, сплошной, без пауз, и он не приближался и не удалялся — он густел. Так гудит не батарея и не полк. Так гудит то, что уже сдвинулось с места на всю глубину и катится, и у него есть имя, короткое и красивое, как это у них водится, и это имя знаю здесь я один.

И то, что мы сегодня встретили в промежутке — восемь человек, дозор, посмотревший на три жерди и чугунную заслонку, — это была даже не первая волна.

Это была пена, которую волна гонит перед собой.

Сзади заскрипела земля под сапогами, и рядом со мной пристроился Прохор — он всегда пристраивался рядом, как утёнок.

— Не спишь? — сказал он.

— Не сплю.

— И я не сплю. — Он послушал темноту. — Гудит.

— Гудит.

— Как думаешь, к нам придёт?

— Придёт, — сказал я.

— Когда?

— Скоро.

Он помолчал, переступил с ноги на ногу.

— Страшно, — сказал он тихо. — Ты только не смейся.

— Не смеюсь.

— Все говорят — не бойся. А как не бояться-то, если оно вон какое.

— Прохор, — сказал я. — Бояться — можно. Бояться будешь ты, и я, и Ковалёв, и сержант, только он тебе про это не скажет никогда. Нельзя другое: нельзя бояться в одиночку и молчком. От этого человек и ломается. Поэтому ты, если прижмёт, дёргай меня за рукав и говори вслух — хоть про мать, хоть про кашу, хоть про то, что тебе конец. Я слушаю. Я всё что угодно слушать умею, у меня это лучше всего получается.

— А ты чего боишься?

Я стоял и смотрел на чёрную полосу леса, за которой гудела земля.

— Того, что не успею, — сказал я.

— Чего не успеешь?

— Всего, — сказал я, и тут же, услышав, как это прозвучало, подхватил и утащил: — Например, отрастить себе руки. Ты видел, какие у меня руки, Прохор? Это же позор, а не руки. Мне заслонку донести — подвиг. Так вот, я тебя предупреждаю: с завтрашнего утра я начинаю бегать.

— Куда бегать?

— Никуда. По кругу.

— Зачем?!

— Затем, что человек, который бегаёт по кругу и не понимает зачем, через месяц носит заслонку одной рукой. И ты будешь бегать со мной.

— Не буду.

— Будешь.

— Не буду, Андрюха, — сказал он и, кажется, впервые за день засмеялся по-человечески, без страха. — Меня сержант увидит и решит, что мы с ума посходили.

— Пусть решит. Пусть лучше он думает, что мы дураки, чем мы завтра выясним, что мы дохлые.

Проход потоптался ещё немного и ушёл в ход сообщения, а я остался на бруствере. Колено ныло, ладони саднило от плетня, но мысль о сне даже не поднималась: в поле за ложной точкой лежал их первый номер, и утром за ним могли прийти уже не двое.

Я спустился в ячейку, не раздеваясь сел к холодной стенке и прислушался. Дозорный наверху ходил туда-обратно, мерно, редко; за ним ровно густел западный гул. Я пытался считать до рассвета, людей, диски, шаги до леса — а получалось только слушать, как тишина между шагами вдруг становится теснее.

А в третьем часу ночи они пришли забирать своего.

Я уже не спал — лежал под шинелью и слушал. Первым я поймал не шум и не голос, а перемену в самой тишине: та тишина, что стоит над полем всю ночь ровно, вдруг стала другой, будто в неё вошло что-то живое и осторожное. Я считал — не овец, а то, что можно успеть сделать до рассвета имеющимися руками. Насчитал три вещи и как раз обдумывал вторую, когда со стороны поля донёсся звук, которого там быть не могло.

Скрип. Короткий, деревянный, живой.

Ведро. Одно из моих дырявых вёдер, посечённое очередью и перевёрнутое набок, — кто-то задел его сапогом в темноте.

Я перекатился к Прохору и зажал ему рот раньше, чем он проснулся, потому что человек спросонья говорит вслух, и это привычка, которая на войне живёт ровно одну ночь.

— Тихо, — выдохнул я ему в ухо. — Слушай.

Он замер и стал слушать.

Их было мало. Двое, может, трое. Они шли не к нам — они шли по колее к тому месту, где остался лежать их первый номер, и шли аккуратно, без единого лишнего звука, кроме этого проклятого ведра. Кто-то там даже шёпотом выругался: коротко, гортанно, чужой речью, и от этой чужой речи в тридцати шагах у Прохора под моей ладонью заходили желваки.

Я лежал и думал очень быстро.

Разбудить линию. Поднять Ковалёва, дать ракету, ударить в упор. Двое, максимум трое, в открытом поле, на дистанции пистолетного выстрела — их положат всех.

И утром на этом месте будет уже не дозор. Утром здесь будет рота с миномётами, потому что группа, ушедшая за телом и не вернувшаяся, — это не «стык прощупали», это «стык обороняется всерьёз, и там надо поработать».

Я снял ладонь с лица Прохора.

— Лежи, — сказал я одними губами. — Пусть заберут.

— Как — заберут? — Он смотрел на меня в темноте круглыми, ничего не понимающими глазами. — Андрюха, они же вот. Вот они, рядом!

— Знаю.

— Они ж наших сегодня...

— Знаю, Прохор.

Он задышал часто, зло, по-мальчишески, и я держал его за плечо и чувствовал под ладонью, как его трясёт, и мне нечего было ему сказать такого, что он сейчас смог бы принять. Я и не сказал. Я просто держал.

Они возились в поле минут двадцать, и каждая из этих минут тянулась отдельно, со своим весом. Сперва было слышно, как один из них о чём-то коротко переговаривается с другим — не словами уже, а каким-то утробным, сдавленным звуком, и я понял, что они, видно, никак не могут сладить с телом: то ли оно зацепилось за что-то, то ли просто было тяжёлым, а нести приходилось на весу, не волоком, потому что волоком по стерне громко. Потом стало тихо на добрую минуту, и в этой тишине я слышал собственное дыхание и дыхание Прохора рядом, оба сдержанные, оба через нос, и где-то за ними, совсем далеко, ровный неубывающий гул с запада, будто там, за десятками километров, кто-то жил своей отдельной ночью и не знал о нашей. Потом снова возня, снова тяжёлое, вдвоём, останавливаясь; один раз что-то мягко ударились

о землю, и оба замерли надолго — я насчитал до сорока, прежде чем возня возобновилась. Потом шаги стали удаляться по колее, и стало тихо уже насовсем.

И только тогда я понял, что всё это время у меня в правой руке была винтовка, снятая с предохранителя, и что палец лежит вдоль спусковой скобы правильно, а вот большой сам собой давно откинул флажок — то есть тело моё, восемнадцатилетнее и слабое, за меня уже всё решило и полчаса ждало команды, которую я так и не дал.

— Ты трус, — сказал Прохор шёпотом. Он плакал, и оттого голос был мокрый и злой. — Ты, Андрюха, трус.

— Ага, — сказал я.

— Чего «ага»?!

— Того, что завтра узнаем. — Я поставил флажок обратно. — Если завтра сюда придут восемь человек — значит, я был прав. Если придёт батальон с миномётами — значит, ты был прав, и я тебе первый это скажу.

Он отвернулся к стенке ячейки и до утра со мной не разговаривал. Я лежал рядом, слушал, как он сначала всхлипывает через раз, потом реже, потом дышит уже ровно, провалившись в тот же короткий сон, какой был у меня самого час назад, и думал, что завтра он не вспомнит половины из того, что сказал мне сейчас, а я запомню каждое слово.

А я сидел и слушал, как на западе гудит, и думал о том, что за двадцать с лишним лет прежней жизни я ни разу — ни разу — не отпустил противника, которого мог достать. И что первое решение в этом теле, первое настоящее решение, оказалось решением не стрелять. И что объяснить его нельзя никому: ни Прохору, ни Бортникову, ни фельдшеру, ни Гнатыку с простреленным плечом.

Перед самым рассветом небо на западе стало сначала серым, а потом на нём коротко и часто задрожало розовым — далеко, беззвучно, за много километров. Гул сделался плотнее и придвинулся.

Я растолкал Прохора.

— Вставай. Пойдём к сержанту.

— Зачем? — спросил он хмуро, не глядя.

— Затем, что светает, — сказал я. — А я обещал придумать до света.

## Глава 4. Линия по земле, а не по бумаге



Гул на западе стал чуть ниже тоном, и я стоял на бруствере и слушал его, как слушают чужой разговор за стеной — слов не разобрать, но по интонации уже ясно, что дело идёт к битью посуды.

— Гринёв.

Я обернулся. Внизу, в ходе сообщения, стоял Бортников, и лицо у него было такое, будто он всю ночь просидел на одном месте, не выспавшись и не отдохнув, а только продумав что-то до конца и не обрадовавшись результату.

— Я, товарищ сержант.

— Слезь с бруствера. Ты на нём торчишь третью минуту, и если у них там в лесу есть человек с биноклем и терпением, он тебя уже нарисовал.

— Виноват.

— Виноват. — Он подождал, пока я спущусь. — Спал сегодня?

— Часа полтора.

— Значит, не спал. Иди спи. До света ещё есть.

— Товарищ сержант, вы мне вчера сказали: придумаешь — скажи до света.

— Сказал.

— Так вот я придумал.

Он посмотрел на меня без всякого выражения — а это, я уже начинал понимать, у него означало примерно то же, что у другого человека означает «ну давай, удиви».

— Говори.

— Стык завтра всё равно голый. Заслонку разбило, но жерди целы, мешковину можно перевесить. Если поставить вторую такую же штуку правее, а первую восстановить, они решат, что мы туда ночью людей подвели, и полезут левее, где жнивье ровное.

Бортников помолчал. Где-то в темноте за нашими спинами стучали лопатой — всё ещё, до сих пор, упрямо и вразнойбой.

— Не будет второй штуки, — сказал он наконец.

— Почему?

— Потому что не будет вообще этого стыка. — Он сплюнул под ноги. — Ротный вечером ходил к комбату. Я не знаю, о чём они там говорили, мне не докладывают. Но по тому, как ротный вернулся, я тебе скажу: спи, Гринёв, пока дают. Утром, я подозреваю, придётся много ходить.

— Куда ходить?

— Спать, — сказал он и ушёл.

Я постоял ещё немного, послушал гул, потом всё-таки спустился в землянку, лёг на солому рядом с сопящим Прохором и уснул за десять секунд — этому я научился ещё в той жизни и рад был обнаружить, что умение перенеслось вместе со мной, в отличие, скажем, от умения прыгать через канавы.

Разбудили нас затемно, ещё до серого.

Я вылез наверх, застёгивая на ходу крючки — вчерашняя наука Прохора уже сидела в пальцах, — и первым, кого я увидел в стилом тумане, был человек с сумкой.

Он шёл со стороны штабных землянок вдоль порядка отделений, невысокий, сутулый, в шинели, которая была ему велика в плечах и коротка в рукавах, и полевая сумка на длинном ремне была его по бедру при каждом шаге. Шёл он тяжело и неровно — так ходят люди, которые не ложились. И вот эта его походка сказала мне всё раньше, чем он открыл рот.

Есть посыльный с бумагой, и есть посыльный с бумагой. Первый идёт ровно, потому что бумага его — ведомость, и до полудня она никуда не денется. Второй идёт вот так: быстро, косо, поправляя сумку на ходу, не давая себе выдоха, потому что внутри у него лежит то, что через два часа станет неактуальным. Я этих вторых узнавал за сто метров всю свою прежнюю жизнь и, как выяснилось, узнаю и в этой.

— Бортников где? — спросил он хрипло у первого попавшегося, и попавшимся оказался Дьячков.

— Вон.

Связной подошёл к сержанту, не козырнул, а просто вытянул из-под клапана сложенный вчетверо лист.

— Взводному в собственные руки. Взводного нет на месте, я его по всему порядку ищу. Ты старший — прими и передай ему без задержки. Мне дальше, ко второму взводу, с тем же.

Он остался стоять в двух шагах, сутулясь, поправил сумку и коротко, простуженно откашлялся. Бортников развернул лист и стал читать, шевеля губами — медленно, как читает человек, выучившийся грамоте не в детстве и оттого никогда не научившийся читать быстро.

Он прочёл дважды. Я видел, как он вернулся глазами к началу.

Потом сложил лист по тем же сгибам и отдал обратно.

— Принял. Передам.

— Ну и ладно, — сказал связной и ушёл дальше вдоль порядка тем же тяжёлым шагом, не оглянувшись.

А Бортников повернулся к нам.

Нас было семеро, минус Гнатюк, которого фельдшер утром обещал отправить в тыл с обозом, — то есть шестеро, и все мы стояли на стилом воздухе, зябли и ждали.

— Слушать сюда, — сказал Бортников негромко. — Разведка полковая вчерашний наш промежуток смотрела. Тот, где мы вечером гостей принимали. Так вот те гости были не гости. Те были разведка перед гостями. Признаки есть, что они туда собираются всерьёз и, судя по всему, не через неделю.

Он сделал паузу ровно на один вдох.

— Взводу приказано сместиться. Уходим на новый рубеж, левее и назад, там опушка и овраг. Собирайтесь сейчас. Забирать всё, что унесём.

Меня как окатило.

Не мыслью — раньше мысли, до всяких слов: холодным сквозняком под ключицами, тем самым, знакомым до отвращения ощущением «снимаемся с обжитого и идём на голое». Тело у меня было новое, необученное, оно этого сквозняка прятать не умело — я почувствовал, как у меня дёрнулось лицо, и сам себе на это удивился. Прежнее моё лицо в такие минуты не двигалось вообще.

Прохор рядом сказал шёпотом:

— Опять копать.

— Опять копать, — согласился я.

А в голове у меня уже щёлкало и складывалось: новый рубеж — это значит, всё вчерашнее остаётся тому, кто придёт следом, а на новом месте земля голая, до темноты часов девять, из которых полтора уйдут на переход, и жерди, лом, лопаты сейчас останутся здесь, потому что каждому нормальному человеку в момент снятия с позиции хочется взять свой вещмешок и не хочется брать чужую жердь.

— Товарищ сержант, — сказал я.

Бортников повернул голову. И я вдруг понял, что вчера, если бы я так же его окликнул при всех, он бы сказал «иди копай». А сегодня он повернул голову.

— Ну.

Я не стал подходить ближе и не стал выпрашивать тридцать секунд, как вчера. Вчера я торговался. Сегодня торговаться было некогда, и я просто заговорил так, как говорил всю прежнюю жизнь, — коротко, по порядку, глаголами.

— Лопаты. Все три, что в отделении, — на трёх человек персонально, чтоб несли их и отвечали, а не бросили у первого куста. Лом — на Дьячкова, он его вчера всё равно от себя не отпускал. Жерди с ложной точки — три штуки, они ореховые, прямые, сухие, на новом месте пойдут либо в накат, либо опять в обман. Вёдра брать не надо, тяжёлые, там свои найдутся. Мешковину и тряпье скатать в один тюк, тюк на меня. И заслонку.

— Заслонка лопнула.

— Она лопнула, а не рассыпалась. Она чугунная, товарищ сержант. Из половины заслонки выходит либо подставка под пулемёт на мокром грунте, либо крышка на дымовую яму, либо кусок брони на бруствер. Чугун сам по себе на дороге не валяется, а мы её уже донесли до этого места один раз, обидно бросать.

Бортников слушал, глядя мне в переносицу.

Он молчал секунды три — я успел посчитать. И я стоял и ждал, что сейчас будет одно из двух: либо «иди собирайся», либо разбор с придирками, и второе было бы даже полезнее, потому что в разборе слышно, чему человек не верит.

А он сказал:

— Дьячков — лом и лопата. Ковалёв — пулемёт и диски, лопату не бери, тебе хватит. Селиванов, Ключин — по лопате, головой отвечаете, потеряете — рыть будете руками, я вам это обещаю не для красоты. Гринёв — жерди, тряпье и своё чугунное хозяйство. Раз тебе жалко, ты и неси.

И отвернулся, будто ничего не произошло.

А я стоял и держал в себе очень нехорошую, очень тёплую вещь, которую нельзя было показывать наружу: он не переспросил.

Ни разу. Вчера на каждое моё слово было «а если», «а зачем», «а ты в армии сколько». Сегодня он взял мой список, переставил в нём двоих под свою арифметику — Ковалёва без лопаты, это правильно, пулемётчику лопата в руках лишняя, — и отдал как своё.

Вот это оно и есть. Вот так оно и выглядит, когда тебе начинают верить. Не благодарностью, не похвалой — тем, что твоё слово повторяют своим голосом.

— Андрюх, — сказал Прохор, поднимая лопату и глядя на меня снизу вверх, — а чего ты за эту заслонку так уцепился? Ну чугуны и чугуны.



— Прохор, — сказал я, разматывая посечённую мешковину с кольев, — ты когда-нибудь пробовал зимой лечь на мокрую глину?

— Ну.

— А теперь представь, что тебе на этой глине надо не лежать, а работать. И под тобой всё едет. И локоть уходит, и приклад уходит, и ты вместо человека становишься санками.

— И заслонка?

— И заслонка. Кладёшь — и у тебя под грудью твёрдое. Это, брат, не роскошь, это разница между «попал» и «а он тут только что был».

— Ты откуда столько знаешь про глину?

— Из деревни, — сказал я. — У нас в Кузнецове глина такая, что бабы на ней в апреле поголовно ездили на спине, как на масленице, и ругались при этом так, что мужики краснели.

Он засмеялся и потащил лопату.

Тюк с мешковиной я взвалил на плечо, три жерди взял под мышку, полузаслонку сунул в вещмешок поверх всего, и вещмешок сразу стал тяжёлым тем особенным чугунным весом, который не колышется и бьёт по одному и тому же месту спины на каждом шаге.

Прежним телом я бы это нёс и не заметил. Этим — я на первой же сотне метров понял, что дошёл до края довольно быстро, и дальше начинается то самое, за что человек в конце дня уважает самого себя.

Шли мы час с лишним, в стылом тумане, вдоль перелеска, и туман этот к рассвету не поднялся, а осел, и стало ещё сырее. На сто пятидесятом шаге вещмешок начал бить в одно и то же место под лопаткой, я перекинул его на другое плечо, и заслонка внутри стукнула по позвонку так, что я на секунду зашипел сквозь зубы. Дьячков впереди, тащивший лом на плече, время от времени перехватывал его то одной рукой, то двумя, и бормотал себе под нос что-то ругательное про тех, кто придумывает переходы затемно. Ковалёв нёс пулемёт стволом назад, диски у него были рассованы по карманам шинели, и карманы оттягивались так, что полы хлопали по голенищам при каждом шаге.

На первом привале все сели прямо в мокрую траву, не разбирая, и минуты три никто не говорил ни слова — просто дышали, шумно, открытым ртом, и пар от дыхания стоял над каждым отдельным облачком в стылом воздухе. Дьячков завозился, полез во внутренний карман и вытащил кисет, скрутил папиросу неверными от холода пальцами, чиркнул спичкой, спрятанной в кулаке от ветра, затянулся так глубоко, что закашлялся.

— Дай затянуться, — попросил Прохор.

— Мал ещё, — сказал Дьячков без злости, привычно, но всё-таки протянул самокрутку. Прохор затянулся один раз, неумело, и закашлялся хуже Дьяčkова, и все, кто это видел, коротко, устало усмехнулись — первый смех за это утро.

— Дай понесу, — сказал Прохор на третьем привале.

— Не дам.

— Ты ж белый весь.

— Прохор, я вчера тебе объяснял про воспитание.

— Ты вчера объяснял, что с перерывами.

— Вот сейчас как раз не перерыв.

— А когда перерыв-то бывает?

— Когда я упаду, — сказал я. — Тогда, будь добр, подбери и заслонку, и меня, и неси в обратном порядке важности.

Новый рубеж я увидел раньше, чем нам его назвали.

Мы вышли из-за перелеска, и я остановился на секунду — не потому, что устал, а потому, что глаз сам зацепился и стал работать.

Опушка. Лента метров триста, от края берёзового мелколесья до кромки оврага. Сзади — овраг: не глубокий, метра три, промытый в жёлтом суглинке, с осыпающимися краями.

По верхней кромке — орешник вперемешку с волчьей ягодой, куст уже тронут инеем, лист подмёрз, стал хрупким и шуршал на ветру мелко и сухо.

А перед нами лежало жнивье.

Ровное, как щётка. Полкилометра до опушки дальнего леса. И лес стоял чёрной зубчатой стеной на сером небе.

И из этого леса шёл гул.

Не приблизился за ночь. Не удалился. Просто стал ровнее — то самое, чего я больше всего и не хотел.

— Ох, — сказал Прохор у меня за спиной. — А тут открыто-то как.

— Открыто, — сказал я.

— Так это ж хорошо? Далеко видать.

— Хорошо, Прохор. Только у этого хорошего есть вторая сторона: далеко видать обоим. И вон те, из леса, по этому полю пойдут ровно, широко и быстро, потому что им не за что цепляться. Тут вся драка будет в последние двести шагов, и всё решится тем, насколько глубоко мы сегодня зароемся.

— А зароемся насколько?

Я посмотрел на солнце — вернее, на серое пятно, где оно должно было быть, — и посчитал.

— На сколько успеем.

Взводный, младший лейтенант, мальчик лет двадцати трёх с воспалёнными от бессонницы глазами, размечал линию по уставу: фронт отделения, интервалы между ячейками. Всё правильно. И от каждого его слова я приходил в тихое отчаяние, потому что он размечал линию по книжке, а не по земле. По книжке она выходила ровная и красивая, и проходила в двадцати шагах перед кустарником — на голом, — а кустарник оставался у нас за спиной без всякой пользы.

Я стоял и молчал. Молчать было тяжело физически, вот прямо в горле стояло. Но я уже понимал одну вещь, которую понял вчера в разговоре про Ключева: тут нельзя приходить со словами «вы неправильно». Тут можно приходить только со словами «а давайте я сделаю, и вам ничего это не будет стоить».

Бортников подошёл сам.

— Гринёв.

— Я.

— Ты чего стоишь и жуёшь губами?

— Считаю, товарищ сержант.

— Опять считаешь. — Он посмотрел вдоль опушки. — Ну и сколько?

— Тридцать шесть ячеек, если по уставу. У нас три лопаты, лом, кирка одна на роту и шестеро в отделении, из которых двое таких, как я. Восемь часов света. Мы не выроем шесть ячеек из тридцати шести. Мы выроем пять с половиной.

Бортников молчал.

— Ты это взводному собрался сказать?

— Нет.

— А чего тогда мне говоришь?

— Потому что вам можно сказать, а взводному надо предложить. Это разные разговоры, товарищ сержант, и второй у меня пока не выйдет — я для него не тем голосом разговариваю.

Он усмехнулся — впервые за два дня, и усмешка вышла короткая, на четверть рта.

— Ну а предложить у тебя что?

Я показал рукой вдоль опушки.

— Вон там, у самой кромки оврага, идёт складка. Земля там сама просела, весной вода стояла. Если ячейку сажать в эту складку, полметра нам уже подарено, и рыть остаётся вдвое

меньше. Дальше — вон куст орешника, густой. Если ячейку поставить не перед ним, а в нём — прорубить внутри, оставив ветки по краям, — человек сидит в кусте, и его не видно вообще ниоткуда, а он видит поле через прогал. И ещё дальше — вот здесь промоина в кромке, готовый ход сообщения, надо только подчистить дно. Природа копала, мы принимаем.

Бортников слушал. Долго слушал.

— Всё это красиво, — сказал он. — И всё это ломает линию. Взводный тебе на это скажет: у меня фронт отделения такой-то, интервал такой-то, а у тебя ячейки в разные стороны разбежались, как козы.

— Так они не разбегутся, — сказал я. — Фронт тот же, интервалы те же плюс-минус пять шагов. Я не линию ломаю, я её укладываю по земле, а не по бумаге. И самое главное, товарищ сержант, — вот тут я подошёл к нему на полшага и понизил голос, потому что это была та часть, которая продаётся, а не доказывается, — взводному от этого прибыль, а не убыток. Он к вечеру доложит ротному не «отрыто пять ячеек из тридцати шести», а «отрыто пятнадцать». Ему это надо. Очень надо, у него глаза как у зайца.

Бортников посмотрел на меня очень внимательно.

— Ты за взводного не решай.

— Не решаю. Я его жалею.

— Вот этого при нём не говори никогда.

— Само собой.

Он подумал ещё.

— Пятнадцать, — сказал он. — Ты сейчас число назвал. Ты понимаешь, что я его повторяю?

Вот тут у меня внутри всё и остановилось.

Потому что вчера я обещал три минуты, и три минуты обошлись мне ничем — они либо вышли бы, либо нет, и в худшем случае мы теряли то, что и так теряли. А сейчас он спрашивал по-другому. Он спрашивал: ты готов, чтобы я пошёл к взводному и от своего имени сказал число, а если числа не будет к темноте, то отвечать буду я, потому что я сержант, а ты никто.

— Понимаю, — сказал я. — Скажите четырнадцать.

— Почему четырнадцать?

— Потому что я считал по себе, а копать будут люди, которые считают по себе. Один запас всегда оставляют. Я оставляю один.

Бортников хмыкнул.

— Вот с этого места, — сказал он, — я тебе начинаю верить чуть больше. Дурак обещает больше, чем сделает. Врун обещает ровно. А человек обещает на единицу меньше и потом делает на две больше, чтоб его в следующий раз слушали.

— Дед научил.

— Опять дед?

— У меня дед богатый на науку был.

— Стой тут, — сказал он и пошёл к взводному.

Я стоял и смотрел, как он говорит: сначала лейтенант мотал головой, потом слушал, потом смотрел мимо Бортникова на опушку, потом опять мотал головой, но уже иначе — так мотают, когда уже согласились и ищут, чем прикрыться.

Бортников вернулся.

— Так, — сказал он. — Дадено. Линию размечаешь ты. Кольями. Взводный сказал: чтоб видно было, куда лопату ставить, и чтоб он мог глазом пройти вдоль и понять, что это линия, а не выпас. Слышал?

— Слышал.

— Ковалёва с пулемётом ты не двигаешь, его точку взводный выбрал сам, и оспаривать не смей. Дальше твоё. И вот ещё, Гринёв.

— Да?

— С этой минуты, если копающий человек спросит «а зачем я тут копаю», ты ему отвечаешь. Не я. Ты. Понял?

— Понял.

— Тогда пошёл. Коля возьми у обозных, там орешник рубили на жерди, остатки валяются. Топор возьмишь мой, вернёшь лично.

Коля мне дали десяток — остроганные ножом, свежие, пахнущие соком. Моток бечёвки нашёлся в обозе среди упаковочного хлама, серая пенька, пахнущая дёгтем и чем-то мышиным, амбарным. Топор дали малый, сапёрный, с обмотанным бечёвкой топорщищем.

Я забил колья по складке, натянул бечёвку у самой земли, прорубил Прохору окно в кусте орешника, и уже к полудню линия наша легла кривой — неуставной, спрятанной, живой, — и я подумал, что если сейчас никто не помешает, к вечеру у нас будет пятнадцать ячеек вместо пяти с половиной.

Помешали в два часа пополудни, и совсем не так, как я ждал.

Прибежал Гнутов, красный, без лопаты, с одним словом:

— Гринёв! Тебя к ротному. Срочно. Прямо сейчас.

— Меня?

— Тебя. Бортников послал, сказал бегом.

Я разогнулся, воткнул топор в бровку и пошёл, вытирая руки о полы шинели. Всю дорогу до штабной землянки я тёр ладонь о полу шинели, будто мог стереть с неё след неуставной работы, а у двери остановился на лишний вдох: кто-то всё-таки заметил.

Ротный, капитан Уваров, сидел на снаряжном ящике перед своей землянкой, расстелив на коленях планшет с картой, и рядом с ним стоял взводный — навтыжку, бледный, глаза бегали.

— Гринёв, красноармеец, по вашему приказанию... — начал я.

— Отставить, — сказал капитан, не поднимая головы от карты. — Не тянись, тут не парад. Встань и слушай.

Я встал.

Он поднял голову, и лицо у него было усталое, серое, с двумя резкими складками у рта, и смотрел он на меня так, как смотрят на вещь, которую надо разобрать и понять, откуда она взялась.

— Это ты линию перекраивал?

— Я, товарищ капитан.

— Тебе кто позволил?

— Никто, товарищ капитан. Я предложил, взводный разрешил.

— Взводный разрешил, — повторил капитан и посмотрел на лейтенанта, и тот дёрнул кадыком, но промолчал. — Взводный мне только что докладывал пятнадцать ячеек вместо пяти. Я к комбату с этим числом уже пошёл было, хорошо, вовремя остановился и решил своими глазами посмотреть, кто их считал.

— Я считал, товарищ капитан.

— Ты. Красноармеец, второй день на фронте. — Он хлопнул ладонью по карте. — Знаешь, что такое самодеятельность на позиции? Знаешь, чем она в августе кончилась у соседей? Взвод свою линию сам подвинул, потому что бойцу приглянулось место посуше, — и в итоге фланг оголил, и туда сорок минут спустя вошли без единого выстрела. Двенадцать человек. Слышал такое?

— Слышал, товарищ капитан. — И я вправду слышал, только не от него — от Бортникова, про Клюева. Имя само едва не сорвалось с языка; я успел проглотить его вместе со следующим вдохом.

— Так какого чёрта ты мне линию по кустам разводишь, если я её взводному по уставу давал?

Я стоял и молчал секунду — ровно ту секунду, за которую в голове успевает пройти весь список того, что можно ответить, и весь список того, чего отвечать нельзя.

— Разрешите доложить, товарищ капитан.

— Докладывай. Только без соловья, у меня времени нет.

— Устав даёт фронт отделения и интервал. Он не даёт рельефа. — Я показал рукой в сторону опушки, хотя её отсюда видно не было, и сам понял, что жест бессмысленный, и всё равно не убрал руку, потому что руки у меня в такие минуты сами хотят что-то показывать. — На нашем участке по уставу ячейки выходят на голом жнивье, в двадцати шагах перед кустом, который остаётся сзади без пользы. Я сдвинул их в складку и в куст, фронт тот же, интервалы плюс-минус пять шагов. Я не менял, где стоит отделение. Я поменял, куда смотрит лопата.

— Плюс-минус пять шагов, — повторил капитан. — Ты хоть понимаешь, что если завтра сюда придёт кто-то с картой боевого порядка и не найдёт ячейку там, где она нарисована, у меня будет разговор с комбатом похуже этого?

— Понимаю, товарищ капитан.

— Не похоже, что понимаешь. — Он снял фуражку, провёл ладонью по волосам, надел обратно — жест человека, который делает это не в первый раз за сутки. — У меня рота стоит на рубеже второй месяц с лишним, я каждого командира отделения знаю, чего от него ждать. А тут восемнадцатилетний мальчишка, третьи сутки в строю, начинает мне рельеф читать лучше, чем взводный, который училище кончал. Ты мне можешь объяснить, откуда это у тебя?

Вот он, вопрос, которого я ждал с той секунды, как за мной прибежал Гнутов, и от которого меня прошибло — не холодом уже, а совсем другим, тем самым ощущением тонкого льда под ногами, когда знаешь, что один неверный ответ проваливается сразу и без возврата.

— Дед у меня, товарищ капитан, — сказал я, и голос у меня вышел ровнее, чем я ожидал. — Он германскую прошёл, окопы копал под Барановичами два года. Меня в детстве заставлял на огороде канавы рыть под уклон, я не понимал зачем, ругался. Он говорил: земля дурака не любит, а любит того, кто её слушает.

Капитан посмотрел на меня долгим взглядом — не тем, каким смотрят, когда верят, и не тем, каким смотрят, когда не верят, а тем средним, оценивающим, каким смотрят на инструмент неизвестной марки.

— Складно врёшь, — сказал он наконец. — Или не врёшь. Мне сейчас, Гринёв, разбираться некогда, у меня фронт горит с трёх сторон. Слушай сюда крепко, один раз скажу. Взводный за линию отвечает головой, не ты. В следующий раз, если у тебя рождается идея, она идёт через сержанта к взводному, и решение взводного, а не твоё. Ты предлагаешь — не делаешь. Уяснил?

— Уяснил, товарищ капитан.

— И вот ещё что. — Он повернулся к лейтенанту, и голос его сел ниже, потяжелел. — А вы, товарищ младший лейтенант, мне линию докладываете чужими словами, а сами не проверили. Это на вас, не на красноармейца. В следующий раз я с вас спрошу, а не с него.

Лейтенант побледнел ещё больше и сказал только:

— Есть, товарищ капитан.

— Свободны оба. Гринёв — марш копать. И запомни, — капитан снова посмотрел на меня, и в глазах у него на секунду мелькнуло что-то не злое, а усталое, почти человеческое, — толковая голова на фронте не вина. Вина — когда голова начинает решать за старшего. Голова пусть думает. Решает командир. Понял разницу?

— Понял, товарищ капитан.

— Иди.

Я шёл назад к линии, и в животе у меня было пусто и муторно, как после разбитой посуды, которую сам же и разбил, — я ведь ждал, что за пятнадцать ячеек меня если не похвалят, то хотя бы отпустят с миром, а вместо этого получил разнос, от которого до сих пор гудело в ушах, и хуже всего было то, что разнос был справедливый. Я предложил дело, но пронёс его мимо человека, который за это дело отвечает, и капитан это увидел раньше, чем я сам себе в этом признался.

Бортников ждал меня у входа в ход сообщения, привалившись плечом к стенке. По его лицу я сразу понял: уже знает. Земля слухи носит быстрее людей.

— Ну что.

— Отругал. По делу.

— И хорошо. Значит, запомнишь не моими словами. — Он оттолкнулся от стенки и сунул мне топор. — Теперь покажи Дьячкову, почему его ячейка смотрит не туда, куда хочется. Мне надо, чтобы он сам это увидел, а не чтобы ты за него копал.

Мы прошли к крайней складке. Дьячков уже вгрызлся в суглинок, злой, с мокрыми волосами на лбу. Я лёг рядом с его будущим бруствером, показал пальцем на прогал между кустами и на жнивье, которое из ячейки будет видно раньше, чем из ровной уставной линии. Он сначала хмыкнул, потом сам приподнялся, посмотрел ещё раз и молча переставил кол на два шага.

Бортников следил за нами, не вмешиваясь. Когда Дьячков снова взялся за лопату, сержант сказал уже мне:

— Вот так и делай. Увидел — сперва ко мне. Я решу, кого сдвинуть и что обещать взводному. Если твоя мысль ляжет криво, ротный сперва спросит с меня, потому я слушаю, а потом команду. А людям объяснишь работу так, чтобы у них руки быстрее шли. Это разные вещи. Спутаешь — снова к капитану побежишь.

— Не спутаю.

— Проверим.

Работали до сумерек. Линия к темноте легла кривой, спрятанной в складках и кустах; я обошёл её ещё раз, присаживаясь у каждой ячейки и глядя с земли глазами того, кто придёт со стороны леса. Почти везде человек увидит не край лопаты, а куст, тень или пустое жнивье — и это было хорошо.

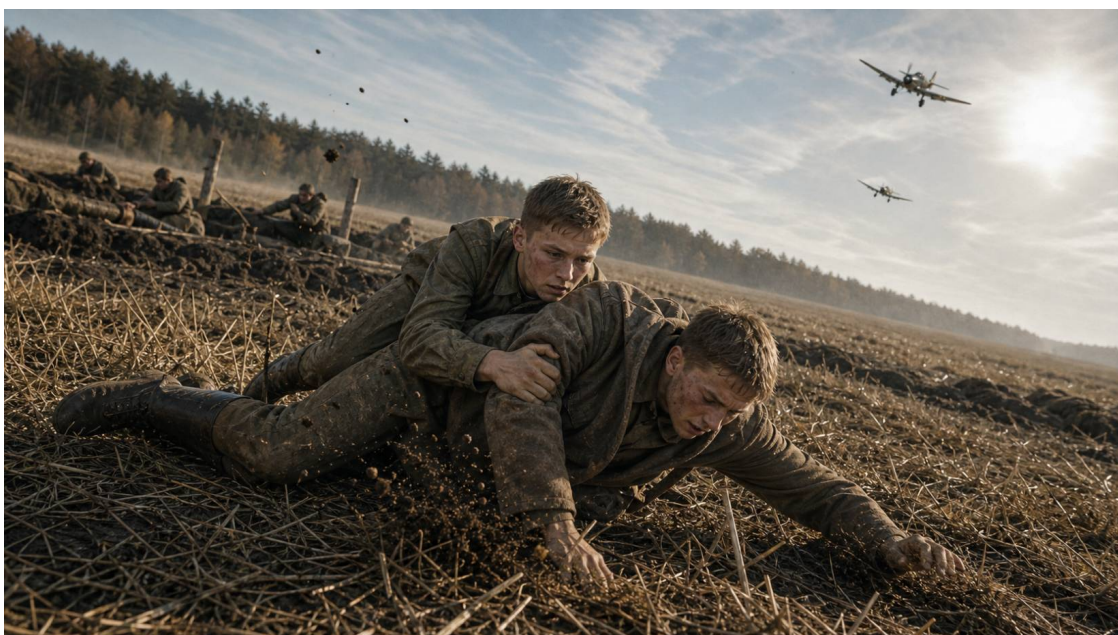
Когда я вернулся к Бортникову, он уже смотрел не на землю, а на серое небо над западом.

— В общий наряд до утра не ставлю, — сказал он. — Сядешь у правого конца и слушай. Услышишь моторы или стрельбу ближе — не командуй через меня: ко мне бегом. Если они уже над головами — тогда ори на всех.

Он проговорил это как порядок, не как доверие, но я понял разницу. До этого мне позволяли видеть. Теперь от того, что я услышу, зависело, успеет ли сержант поднять людей.

Над жнивьем гул на западе так и не сел до конца. А под ним, едва различимо, тянулась другая нота — тоньше, выше, со стороны тусклого солнца.

## Глава 5. Со стороны солнца



На следующее утро гул пришёл со стороны солнца, тонкий, на грани слуха, будто кто-то тянул смычком по расстроенной струне где-то за лесом. Я разогнулся над ячейкой, ладонь на черенке лопаты, и посмотрел не в небо — в сторону дальнего леса, откуда шёл звук.

— Прохор. Слышишь?

Прохор замер с землёй в руках, комок посыпался у него между пальцев.

— Ветер, Андрюх.

— Ветер моторами не тарахтит.

Два звука накладывались один на другой — тяжёлый, рычащий гул моторов и следом, чуть дальше, повыше, второй, злее. Я знал этот рисунок с той, прежней жизни, знал его костями: два бомбардировщика, и за ними прикрытие. Только там я слушал его через броню и наушник, а здесь — голыми ушами, стоя по пояс в сырой глине, с телом восемнадцатилетнего мальчишки, у которого от долгой работы лопатой уже тряслись плечи.

— Воздух! — заорал я, и голос сорвался на мальчишеский писк, что было унижительно даже сейчас. — Ложись! Все ложись, к оврагу!

Бортников поднял голову от своей ячейки, посмотрел на меня тяжело, без спешки — он не любил, когда командуют через его голову, — но тут и сам услышал, и лицо у него сложилось в короткую, злую гримасу понимания.

— Ложись! — повторил он, и голос у него был низкий, придавленный, куда убедительнее моего.

Дьячков упал в свою ячейку сразу, будто нырнул в воду. Ключин, самый длинный в отделении, сложился в своей недорытой ячейке, вжался спиной в стенку и всё пытался убрать торчащие колени под низкий бруствер. Ковалёв подхватил диск пулемёта и залёг за бруствером — тоже низким, кое-как насыпанным.

Прохор не лёг. Он стоял, задрал голову, и в глазах у него был ещё не страх, а что-то похожее на детское любопытство, и я понял с абсолютной, холодной ясностью: сейчас он побежит.

Он побежал.

Ноги у него были длинные, крестьянские, привычные к бегу по полю, и он рванул не к оврагу, а вбок, наперерез, туда, где, как ему казалось, было спасение, — просто прочь от звука. Я бросился за ним, зацепился ногой за бруствер, упал, вскочил, и всё это заняло у меня, наверное, две секунды, которых у нас не было ни одной.

Самолёты вывалились из-за леса — сначала точками, потом уже угловатыми, кривоногими силуэтами с неубирающимися шасси, похожими на растопыренные птичьи лапы. Один накренился, лёг на крыло, и звук изменился — потянулся вверх, в тонкий вой, в сирену, от которой в прежней моей жизни немели загривки у людей, которых давно нет, а теперь занемел мой собственный, живой, восемнадцатилетний.

Я догнал Прохора на бегу, ударил его в спину двумя руками — не толкнул, а именно ударил, всем весом, — и мы оба покатались по стерне. Он был сильнее меня, руки у него были крестьянские, широкие в кости, и когда он попытался подняться, дёрнулся снизу вверх, я едва удержал его, вцепившись в воротник шинели и наваливаясь всем телом на его плечи, вжимая лицом в землю.

— Лежать! — кричал я ему в ухо, срываясь на визг. — Лежать, дурак, убьют!

— Пусти! — он всхлипывал, дёргался, ногти его цеплялись за мёрзлую корку земли, и на мгновение, на одно длинное мгновение, я почувствовал, что не удержу его, что тело моё, тонкое, восемнадцатилетнее, не справится, и тогда я всем весом лёг ему на голову и вжал лицом в стерню.

Сирена ударила по ушам, будто по голове чем-то плоским, и следом земля впереди, метрах в сорока, вспухла и осела чёрным фонтаном, и вторая бомба вспорола поле правее, ближе к оврагу, и звук был не «бах», а что-то вминающееся в грудную клетку, забирающее воздух из лёгких прежде, чем уши вообще успели услышать взрыв. Земля толкнула меня в спину, будто кто-то большой и равнодушный наступил на нас сверху сапогом. Комья мёрзлой почвы посыпались дождём, один попал мне в затылок, другой — Прохору в плечо, и он застонал, обмяк подо мной, и я не сразу понял, что это не ранение, а просто оглушение.

Второй самолёт зашёл следом, и по полю ударили пулемётные трассы — не с воем сирены, коротко, деловито, россыпью фонтанчиков мёрзлой земли, идущих полосой вдоль опушки. Я лежал, вжав лицо в стерню, вкус земли на зубах, песок и мёрзлая труха, и считал — не потому что решил считать, а потому что тело считало само, как считало всегда: интервал между заходом первой пары и второй, скорость, с которой трасса прошла вдоль ячеек.

Между заходами наступила тишина, короткая, странная, будто выключили звук в кино. Я поднял голову.

— Ключин! — крикнул кто-то, и я узнал голос Дьячкова, высокий, ломкий.

Ключин лежал в своей недорытой ячейке неправильно — верхняя часть тела вывернута наружу, через обрушенный бруствер, будто его выплеснуло из земли, а не наоборот. Он не двигался. Я видел это одним взглядом и понял всё сразу: осколок или пуля, неважно, важно было то, что грудь под шинелью не поднималась.

— Гринёв! — окликнул Бортников из своей ячейки. — Ты их слышишь. Говори.

Он спрашивал меня. Не приказывал — спрашивал.

Я слушал небо. Мессершмитты разворачивались широким крюком, я слышал перемену тона моторов, и уже понимал рисунок: они били вдоль опушки, вдоль линии наших ячеек, с севера на юг, каждый заход по одной прямой. Значит, между заходами, пока пара делает крюк для новой атаки, полоса перед оврагом на несколько секунд остаётся пустой.

— К оврагу! Все, живо, за мной, считаю вслух!

Я вскочил, потянул за собой обмякшего Прохора, поставил его на ноги рывком.

— Раз, два, три — бегом!

Дьячков выскочил из своей ячейки и рванул, пригнувшись, к оврагу. Ковалёв, взвалив пулемёт на плечо, побежал следом, придерживая диски рукой. Бортников не спорил — он



крикнул что-то своим, и я увидел, как он сам, тяжёлый, неповоротливый, всё же побежал первым, показывая пример, а не гоня других вперёд себя.

— Восемь, девять, десять — ложись!

Все попадали на полдороге, кто где стоял, и в этот момент вторая пара мессершмиттов прошла над самой опушкой, снова той же линией, снова с севера на юг, и трассы прошли там, где мы стояли секунду назад, взрывая землю ровной строчкой вдоль бывшего края ячеек.

— Тринадцать, четырнадцать — бегом, в овраг, не останавливаться!

Мы скатились по обрыву суглинка, кто на ногах, кто на боку, кто кубарем, я толкал Прохора перед собой, и он наконец побежал сам, а не по инерции моего рывка. Овраг принял нас глубиной в три метра мёрзлой глины, и когда следующий заход прошёл над полем, звук трассы был уже далеко наверху, безопасно далеко, бьющий по пустой земле, где нас больше не было.

Пикировщики сделали ещё один заход, уже неприцельный, будто по привычке, и ушли в сторону солнца, откуда пришли, и гул стих так же медленно, как нарастал, растворяясь в холодном утреннем воздухе.

Тишина после налёта была плотная, ватная, я слышал в ушах звон, не проходящий, будто кто-то оставил там камертон. Люди поднимались из оврага медленно, кто-то на четвереньках, отряхивая мёрзлую глину с колен. Прохора трясло крупной дрожью, зубы у него стучали, и он сидел на дне оврага, обхватив колени руками, и не мог встать, пока Ковалёв не поднял его за шиворот одним рывком.

Клюшина вынесли из ячейки вдвоём, Бортников взял его под плечи, Дьячков — за ноги, и несли молча, глядя мимо друг друга. Земля на бруствере была смешана с чем-то тёмным, и разгребать её начали, не сговариваясь, просто чтобы завалить, спрятать, не смотреть больше.

Хоронили Клюшина в стороне, у края перелеска, где земля была мягче остальной. Могила пришлось копать той же лопатой, которой полчаса назад рыли ячейку. Прохор держал каску обеими руками и смотрел в землю, Дьячков дважды принимался закуривать и оба раза ломал спичку. Вздвигая сказал коротко и сухо, что боец Клюшин честно исполнил свой долг перед Родиной; на середине фразы голос дрогнул, он резко замолчал и отвернулся. Могила закидали, притоптали, в изголовье воткнули обломок доски. Бортников сам вывел на ней фамилию химическим карандашом, медленно вдавливая его так, что дерево скрипело. Когда он отошёл, никто не двинулся сразу.

— Ты хоть бы предупредил заранее, — бросил мне Дьячков, зло, дрожащим ещё голосом, вытирая рукавом лицо. — Раньше нельзя было сказать, что ли.

— Уши мои, а не рация, — ответил я. — Раньше не слышал.

Бортников стоял рядом с телом Клюшина, глядя на меня — не на убитого, а именно на меня, долгим тяжёлым взглядом, в котором не было ни благодарности, ни упрёка, только что-то похожее на пересчёт, будто он заново прикидывал, кто я такой в его отделении. Он ничего не сказал. Повернулся и пошёл распоряжаться насчёт носилок.

Я сел на край свежевырытой земли, и руки у меня, тонкие, мальчишеские, дрожали крупно, некрасиво, и я смотрел на них с той же брезгливой злостью, что и всегда, когда тело подводило меня в самый неподходящий момент — уже после того, как всё было сделано.

А потом стал считать заново.

Утром нас было шестеро. Теперь пятеро. И обещание, которое Бортников уже отнёс взводному, стало враньём — не по моей воле, но моим голосом.

Я поймал себя на этой мысли и на секунду возненавидел себя всерьёз. Человека вынесли десять минут назад, а я его уже пересчитал.

Потом подумал ещё немного и перестал. Потому что если я его сейчас не пересчитаю, то к темноте у нас будет ещё меньше готовых ячеек, и завтра в них не сядет ещё кто-нибудь. Живым от моей брезгливости легче не станет. Им станет легче от глубины.

Копать начали в первом часу.

Три лопаты на пятерых означали, что лопата всё равно слишком часто ходит по рукам, а не сидит в земле. Я предложил Бортникову круг по времени. Он поглядел на свежую могилу Ключина, потом на нас и сказал:

— Считай. Вслух. Но не людей считай, а работу: кому копать, кому выносить, кому землю прятать. Ключина уже не вернём, а след от нас по всему полю оставить — это я вам всем запрещаю.

— Первый круг сам копаешь, — добавил он. — Чтоб потом никто не сказал, что счетовод нашёлся.

Первый круг я копал сам. Я ударил в подмёрзшую корку, услышал звенящий, стеклянный отскок, ударил ещё раз, прорубил, вышел на суглинок — и на четвёртой минуте понял, что у меня кончаются руки. Не силы. Именно руки. Плечи держали, спина держала, а кисти задрожали мелко и подло, черенок стал проворачиваться в ладонях, и ссадины от плетня открылись и потекли.

Я досчитал вслух до десяти минут и отдал лопату Дьячкову.

Отходя, я услышал сзади короткий смешок.

— Гляди, счетовод-то наш уже наработался.

Я обернулся.

— Нарботался, — сказал я. — У меня руки как у гимназистки, Дьячков, я это и не скрываю. Только ты вот на что посмотри: я эти десять минут отработал в земле все десять, а ты вчера с лопатой стоял и грелся, и сержант тебе про это сказал при всех. Так давай так: ты меня подначиваешь за руки, я тебя за грелку, и мы квиты, и оба копаем. Только вынутую землю не вали кучей: дерн снимай пластом, землю под куст, а дерн верни сверху.

Дьячков посопел.

— Ладно, — сказал он. — Копаем. И, слушай, ты правда очень быстро землю выносишь. У тебя ходка на две минуты короче, чем у Прохора.

— Так я ж не по кочкам иду, я по тропе. А я протоптал.

Я посмотрел вниз. Действительно — за неполный час хождения с ведром через кустарник у него уже наметилась тропа, тёмная борозда среди инея.

Я поднял ладонь.

— Дьячков. Стой. Тропу твою видно сверху, потому что иней вокруг белый, а тропа чёрная. Она нам показывает всю линию, как палец. Ходить будем не по одной, а веером, по кустам, где иней уже сбит. Прохор, дерн с той стороны носи сюда и бросай не кучей, а под ветки. Пусть сверху увидят, что тут ветер лист гонял, а не пятеро людей землю вывернули.

— Так по кустам дольше!

— На сорок секунд. А тропа наша живёт до первого самолёта.

Часы после обеда шли ровно, без событий, и в этой ровности была своя тяжесть. Круг по десять минут вращался безостановочно: копаешь — выносишь — падаешь на землю на отдых. Ковалёв копал зло и молча, не отвечая ни на одну подначку, и на четвёртом круге сорвал ладонь о черенок так, что кровь смешалась с землёй и стала на срезе ладони чёрной коркой, и он на это ничего не сказал, просто обмотал руку тряпицей и продолжил. Прохор к середине дня осип от того, что то и дело перекрикивал ветер.

Между третьим и четвёртым кругом старшина принёс обед — не горячий, холодную кашу в котелках и по два сухаря, — и есть пришлось прямо на бруствере, грязными руками, и никто на это не жаловался, потому что жаловаться значило тратить время, которого и так не хватало.

Я пошёл вдоль линии, считая открытое.

Полтора часа лежали в одном месте, и я знал, в каком.

Промоина. Разница между тем, что есть, и тем, что обещано, лежала ровно в том, чтобы дальняя пара ячеек не рылась заново, а села в готовый жёлоб промоины и соединилась с линией по нему же, как по ходу сообщения.

Я пошёл к промоине с последним колом и топором.

Умный человек обошёл бы по скату. Пять лишних шагов.

Я всё это видел. И тело прыгнуло. Оно прыгнуло само, раньше головы, потому что за двадцать с лишним лет это движение — короткий низкий сход вниз через отвесный край — было впаяно в мышцы так же, как в чужие мышцы впаяно перекреститься на храм.

Я почувствовал ошибку в тот же миг, что и вчера, — на середине. Толчок вышел слабее, чем нужно, ноги не догнали корпус, и я пошёл вниз не так, как рассчитывал, а просто вниз.

Колено встретило край.

Вчера удар был хлёсткий. Сегодня вышел глухой и короткий: нога успела чуть подвернуться и принять край не голой чашечкой, а всей боковой мышцей, и мышца эта, худая и жалкая, всё-таки сработала. На четверть.

Я лежал на дне промоины среди мокрой листвы, весь в чёрной глине, — и считал эту четверть, как скупец считает первую монету. Значит, будет и половина. Значит, к декабрю будет целое.

Сверху была тишина.

Я поднял голову. На кромке стояли трое — Прохор, Дьячков и, чуть дальше, Бортников.

— ...и вот я тебе, Прохор, договариваю, — сказал я снизу, из промоины, не вставая, отплёвывая листву. — Лопату держи под середину. А то будешь держать как метлу — и полетишь, как я.

Секунду было тихо.

Потом Дьячков заржал. Громко, от души, некрасиво — и это был лучший звук за весь день.

— Ну ты и... — сказал он, вытирая глаза. — Ты бы себя видел. Ты ж как мешок с картошкой сверзился.

— Мешок с картошкой падает мягче, — сказал я, поднимаясь. — Он круглый. У меня, к сожалению, углы.

— Живой хоть?

— Живой. Колено ушиб. Второй раз в одно и то же место — вчера в канаве, сегодня тут. Прогресс налицо: вчера я потерял дыхание, а сегодня только достоинство.

Я нащупал в глине упавший кол, поставил его на дно жёлоба у самого поворота, примерился, ударил обухом. Земля тут была мягкая, размокшая. Кол вошёл с одного удара — по самое некуда.

— Готово, — сказал я вверх. — Дьячков, Прохор — вам сюда. Копаете от этого кола навстречу друг другу, по дну, вычищаете лист и срезаете вот этот угол. К темноте будет две ячейки и ход между ними, и рыть вам полтора часа, а не полдня.

Я вылез по пологому скату — по тому самому, по которому надо было спускаться, — и на выходе меня встретил Бортников.

Он ничего не сказал. Он посмотрел на моё колено, на глину, на кол — посмотрел так, как смотрит хозяин на лошадь, которую ему сегодня надо гнать, а завтра пахать.

И прошёл мимо.

К темноте у нас было одиннадцать ячеек.

Не четырнадцать — одиннадцать. Дьячков с Прохором в промоине управились, но у Ковалёва точка пошла в камень, и там ушёл лишний час на лом, а Ключина мы в этот день хоронили, вместо того чтобы копать.

Последний час перед темнотой все работали молча, без единого слова, только слышался стук лопаты о камень да чей-то надсадный кашель — Прохор к вечеру простыл, хрипел на каждом вдохе. Ковалёв, домучив свою точку, сел рядом с готовой ячейкой и долго, безмолвно смотрел на собственные ладони — рассечённые, чёрные от земли и запёкшейся крови.

Взводный прошёл вдоль линии в сумерках, глядя себе под ноги, потом остановился и сказал Бортникову — при мне, но не мне:

— Одиннадцать.

— Одиннадцать, товарищ младший лейтенант.

— Я в роту доложил, что четырнадцать.

— Виноват.

Взводный помолчал. У него было совсем мальчишеское лицо, воспалённые веки, и он очень старался говорить как человек постарше.

— В соседнем взводе шесть, — сказал он. — По уставной линии. Шесть.

И пошёл дальше, не оборачиваясь.

А Бортников остался.

— Гринёв.

— Я.

— Ночью в охранение идут трое. Дьячков, Селиванов и Ковалёв. Ты не идёшь.

Я открыл рот.

Вот честное слово, я открыл рот, чтобы сказать: «товарищ сержант, я пойду, я в порядке, я не устал». Это была бы правда наполовину и глупость целиком.

И я закрыл рот.

— Есть не идти, — сказал я.

Бортников кивнул.

— Утром пойдёшь. Утром мне нужен человек, который умеет смотреть, а не человек, который ночью героически хромал.

— Понял.

Он уже повернулся уходить, но остановился.

— Гринёв. Ты сегодня четырнадцать обещал, а сделал одиннадцать.

— Так точно.

— Так вот запомни, как оно бывает дальше. — Он смотрел не на меня, а в поле, в темнеющее жнивье. — Взводный тебе про это больше не скажет ни слова. И ротный не скажет. И никто. А в голове у него теперь навсегда будет сидеть, что Бортников обещал четырнадцать и не додал три. Всего три ячейки — а в следующий раз, когда я приду к нему за чем-то важным, поверит он мне уже на целую ступень меньше. Вот такая арифметика, и она у меня своя, не твоя.

Я стоял и молчал.

— Товарищ сержант, — сказал я наконец. — Завтра будет девятнадцать.

— Опять число.

— Опять число. Только теперь я его считаю не по книжке, а по этим людям, которых я целый день видел с лопатой. Дьячков быстрый и садится на третьем часу. Ковалёв злой и работает лучше, когда его никто не хвалит. Прохор носит землю и почти не копает, и это правильно, пусть носит. Девятнадцать.

Бортников очень долго на меня смотрел в темноте.

— Девятнадцать, — сказал он. — Ладно. Я передам восемнадцать.

И ушёл.

Я остался стоять на кромке.

Ночь пришла с востока, как ей и положено, натянулась на поле от оврага к лесу, и жнивье стало сначала серым, потом сизым, потом никаким. Иней на кустах прихватило заново, и орешник шуршал теперь стеклянно, тонко.

Прохор нашёл меня минут через десять — он всегда меня находил, я уже начинал к этому привыкать и, честно говоря, уже начинал этого ждать.

— Андрюх.

— Что.

— На, — сказал он и сунул мне в руки сухарь. — Твой. Ты обед пропустил, ты на линии бежал, я взял и придержал.

Я взял сухарь и минуты три ничего не мог сказать. Совсем ничего. Стоял и держал его в ладони.

Есть вещи, к которым я думал, что привык за двадцать лет. Оказалось, не привык.

— Ты чего? — испугался Прохор.

— Ничего, — сказал я. — Сухарь хороший. Тяжёлый. Из такого сухаря, если его правильно заточить, выходит отличный нож.

— Не выходит.

— Не выходит, — согласился я. — Но представить приятно. Спасибо, Прохор.

Мы постояли молча.

— Слышь, — сказал он. — А чего оно сегодня по-другому гудит?

Я и сам это слушал уже полчаса и всё пытался обмануть себя, что мне кажется.

Вчера гул был низкий, ровный, глухой — так гудит очень далёкое очень большое. Сегодня он не стал громче. В этом-то и была вся штука: он не стал громче.

Он стал чище.

Из него ушла та мутная составляющая, которая появляется, когда звук идёт через много воздуха и много леса и много всего. Он стал разборчивее — и внутри ровного гула теперь иногда, редко, проступали отдельные удары. Не грохот. Просто в ровном полотне стали видны швы.

А швы видно только тогда, когда подходишь ближе.

— По-другому, потому что ближе, — сказал я.

— Насколько ближе?

Вот на этот вопрос у меня не было ответа, и это было хуже всего.

Я знал, что там. Я знал, как это называется и как это выглядит на карте — широкими стрелами в обход, а не тупым тычком в лоб; я знал, что то, что сейчас гудит на западе, идёт не сюда, а мимо и дальше, чтобы потом сомкнуться где-то за нашими спинами, и что это самое поганое из всего, что бывает, — когда фронт есть, окопы есть, одиннадцать ячеек есть, а через неделю выясняется, что всё это стоит лицом не в ту сторону.

Только сказать это было нельзя. Ни единого слова.

Потому что если я сейчас открою рот и скажу Прохору, что нас, скорее всего, обходят, — это либо болтовня, за которую с меня спросят так, что я и до немцев не доживу, либо, что хуже, это правда, которую он понесёт дальше, и завтра пятеро человек будут копать ячейки, уже зная, что копают зря.

А копать надо. Копать надо обязательно, потому что даже если обходят — есть шанс, что не нас, и есть шанс, что не завтра, и вот в эти два шанса и надо зарыться на метр восемьдесят.

— Прохор, — сказал я и услышал, что голос у меня сел ниже, чем надо, и что тон я не удержал. — Слушай меня. Завтра копаем как проклятые. Не потому что нам скажут. Каждая лишняя ячейка — это чья-то жизнь, и, может быть, твоя, и я тебе это говорю на полном серьёзе один раз, а больше повторять не буду.

Он помолчал.

— Ты чего-то знаешь? — спросил он тихо.

И вот оно. Вот этот самый край, на который меня выносит каждый раз, стоит мне забыться.

— Знаю, — сказал я и тут же подхватил, не давая паузе повиснуть, — знаю, что завтра будет мёрзлая корка на палец толще, потому что ночь ясная. Так что подъём для нас с тобой на полчаса раньше.

— Опять бегать?

— Обязательно бегать.

Он ушёл, ворча, что я жулик, и был совершенно прав.

А я остался на кромке оврага один.

Внизу, в промоине, кто-то ещё скрёб лопатой — Дьячков, наверное, ему всё казалось, что угол срезан не так. Пахло свежевскопанной мёрзло-сырой землёй, тяжёлым пресным запахом с медным привкусом, и этот запах теперь будет со мной, я знал, до самого конца — какой бы этот конец ни был и когда бы он ни настал.

Одиннадцать ячеек за спиной. Восемнадцать обещано на завтра, а сделать надо девятнадцать. Три лопаты. Один напильник, который я ещё не выпросил. Колено, которое к утру раздует. Руки, которые к утру склеятся коркой.

Я стоял и слушал, как на западе гудит.

Гул был ровный, чистый, и в нём проступали швы.

— Ну ты не части, — сказал я ему вслух, потому что молчать я никогда не умел. — Дай нам ещё день. Хоть один. Я больше не прошу.

Гул не ответил.

Он стал чуть чище.

## Глава 6. Недокопанное врёт лучше



Гул не ответил и стал чуть чище — а я ещё стоял на кромке и слушал его, и в этом слушании прошло, наверное, минут двадцать, из которых пятнадцать были уже пустые: ухо привыкло, и разбирать в звуке стало нечего. Тогда я слез в свою ячейку — ту, что успел на треть, метр с небольшим, без ниши, без ступеньки, просто яма с косой стенкой, — постелил на дно тук с мешковиной, лёг на бок, подтянул колени и уснул.

Спал я так, как спит человек, который двадцать лет ложился в местах, где будят не будильником. Верхний слой сна остаётся снаружи, дежурит и слушает. Он пропускает мимо себя всё, что укладывается в норму, — скрип шагов по мёрзлому, кашель, стук лопаты, как кто-то тихо и длинно ругается, зацепившись за колышек. И он вздёргивает тебя мгновенно, когда в мир приходит звук, которого в норме не было.

Ракета — это как раз такой звук.

Сначала сухой хлопок, будто щёлкнули огромными пальцами, потом шипение, коротко и с подъёмом, и потом всё вокруг становится не тёмным, а зелёным и плоским. Я открыл глаза уже на счёт «два».

Тело сработало раньше головы, и сработало плохо. Рука пошла вправо, за винтовкой, и нашла её сразу — это я вчера положил её правильно, вдоль стенки, прикладом к бедру, — а вот подъём вышел позорный. Прежним телом я вставал из положения лёжа одним движением, включая корпус и бедро. Это встало в два приёма: сначала на колено, потом на ноги, и левое колено, вчера разбитое о край промоины, отозвалось так, что я на секунду перестал дышать носом.

— Тревога! В ружьё! По местам!

Голос был Бортникова, и в нём не было ни капли сна, что означало: он не спал вовсе.

— По местам, я сказал! Опарин, куда ты в шинель лезешь, ты её потом наденешь, ты сперва встань туда, где тебе стоять положено!

— Товарищ сержант, у меня патроны в мешке остались!

— А мешок где?

— В ячейке!

— Так ты в ячейку и беги, дурья голова, а не ко мне! Дьячков!

— Здесь!

— Правый край держишь ты. Ковалёв где?

— У пулемёта я! — отозвалось справа, глухо, из-под чего-то. — Диск снаряжённый один, второй наполовину!

— Второй досыпай прямо сейчас, руками, не глядя. Селиванов!

— Тут! — голос у Прохора был тонкий и высокий, будто ему разом стало пятнадцать лет.

— Что «тут»? Доложись по-человечески: где ты и что видишь.

— Четвёртая ячейка от края! Ничего не вижу, товарищ сержант, темно!

— Смотри дальше и увидишь.

Я выкинул себя из ячейки на бруствер и присел за ним. Зелёный свет над жнивьем качался и опускался, тени от стерни вытянулись длинно и косо, и в этом свете было видно очень много и одновременно ничего.

Всё поле было пустое.

Это первое, что делает неопытный: смотрит на поле, видит пустоту и успокаивается. Я на поле смотрел вторым взглядом, а первым — на кромку дальнего леса и на два выступа кустарника, что торчали от неё на нашу сторону, метрах в трёхстах. Потому что если кто-то к тебе идёт по голому жнивью, он идёт не по середине, он идёт вдоль любой складки и любого куста, и последние двести метров он поползёт.

И у левого выступа кустарника было темнее, чем вчера.

Не «видно людей». Просто пятно тени шире, чем ему положено быть по форме куста.

— Гринёв! — Бортников был уже метрах в пятнадцати, шёл вдоль линии пригнувшись, я узнал его по походке, а не по лицу. — На месте?

— На месте! Товарищ сержант, левый куст на опушке — там их больше, чем куста!

— Как это — больше, чем куста?

— Тень шире ствола. Вчера я его весь день видел, он узкий, а сейчас у него подол на три шага в стороны. Так бывает, когда за кустом лежат.

Он остановился и секунду смотрел туда, куда я показывал подбородком.

— Может, ветром снегом надуло.

— Снега нет, товарищ сержант. Иней. Иней тени не даёт, он белый.

Бортников помолчал ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы согласиться и при этом не сказать «согласен».

— Сиди в своей яме, ты в резерве.

— Товарищ сержант, разрешите на правый край.

— Не разрешаю.

— На правом крае один Стеблов.

— На правом крае один Стеблов, и это моё решение, а не твоё. — Он даже не повернул головы. — Резерв — это не наказание, Гринёв, резерв — это те, кого я кину туда, где прорвут. Сиди и жди, куда я тебя кину.

— А если прорвут как раз там?

— Тогда я тебя туда и кину.

— Товарищ сержант, у него на бруствере две ладони тяжёлых сырых комьев. Мы вчера этот отрезок к темноте бросили, я сам сказал — утром доделаем. Если туда положат мину, ему нечем закрыться, он там как на ладони сидит.

— Мины ещё нет.

— Она будет.

— Гринёв. — Вот тут он повернулся, и в зелёном свете лицо у него было ровное и очень усталое. — Ты мне тут пророчествами не сыпь. В резерв, кому сказано.



И пошёл дальше, вдоль линии.

Вот тут у меня и щёлкнуло.

В резерве. То есть в глубине, во второй линии, там, где ячейки роют для вторых, кто заткнёт дыру, когда дыра появится. А на переднем крае, на крайнем правом отрезке — том самом, у промоины, куда я вчера воткнул кол, сверзившись мордой в мокрый лист, — сейчас стоит тот, кого поставили вместо меня.

Стеблов. Гаврила Стеблов, из недавнего пополнения, смоленский, с ладонями, как две лопаты. За вчерашний день мы с ним сказали друг другу слов десять, и из них шесть было «подвинь кол, я тут копну».

И тот отрезок был самый недорытый во всей линии. Дьячков с Прохором туда дошли к темноте, вычистили дно, срезали угол, но бруствер там был не бруствер, а обещание бруствера — насыпь в две ладони тяжёлых сырых комьев. Мы его собирались наращивать сегодня с утра. У меня даже в голове это лежало отдельной строчкой: с утра, до завтрака, две ладони добавить.

С запада пришёл первый звук — не выстрел, а такой сухой, деревянный стук, будто кто-то далеко уронил доску на доску.

Миномёт.

Я знал этот звук по обе стороны своей жизни. Он не меняется. Выстрел из миномёта слышно раньше прилёта на несколько секунд, и эти несколько секунд — единственное, что у человека есть.

— Мина! — заорал я во всю глотку, разворачиваясь вдоль линии. — Мина идёт, все вниз! Головы вниз, рты открыть!

— Чего открыть?! — донеслось откуда-то справа.

— Рот открой, тебе уши сбережёт! Считай до десяти и лежи!

— Ложи-и-ись! — заорал кто-то справа.

Я не лёг.

Я побежал.

Побежал не вперёд и не назад, а вдоль линии, вправо, к промоине, пригнувшись так низко, что видел перед собой только мёрзлые комья и белую щетину инея на них. Правильно ли это было — нет. Правильно было остаться в резервной ячейке, потому что там мне и было сказано быть, и потому что бегущий человек на линии — это человек, которого убивают первым. Я это знал. Я всё это знал абсолютно точно, во всех подробностях, включая ту, что бегу я сейчас медленнее, чем бегал в пятьдесят лет, потому что у меня восемнадцатилетние лёгкие, которые вторые сутки живут на сухарях и морозе.

И я бежал.

Потому что счёт у меня в голове шёл сам, без спроса. Отрезок у промоины держит один человек. До него от резервной линии — сто двадцать шагов. Сто двадцать шагов по липкой пахоте — это тридцать секунд бегом, если ноги свои, и сорок пять, если ноги вот эти. А мина летит двенадцать.

Она и прилетела на двенадцатой.

Разрыв был не такой, как в кино, где всё поднимается медленным грибом. Разрыв — это удар в уши плоской ладонью, и сразу за ним свист и шорох над головой, и потом стук: осколки и мёрзлые комья возвращаются обратно на землю в течение секунды-двух, и по этому стуку ты понимаешь, что ещё жив.

Легло на крайнем отрезке. Впереди меня, шагах в сорока.

Я не остановился. Я пошёл быстрее, хотя мне казалось, что быстрее уже некуда, и потом в темноте, ставшей после вспышки совсем чёрной, увидел край промоины — тот самый, отвесный, слоистый, вчерашний.

И тело опять прыгнуло само.

Только на этот раз я не стал его останавливать. Вчера прыгать было глупо, потому что рядом был пологий скат и пять лишних шагов. Сегодня пяти лишних шагов не было.

Я ушёл вниз, приняв на бок и на плечо, прокатился по мокрому листу, ободрал скулу о выступ и оказался на дне жёлоба. Колено взвыло. Плечо взвыло. Всё это я отметил и отложил на потом, потому что на потом откладывается всё, что не мешает работать.

Наверху, в двух шагах, кто-то дышал.

Так дышат через нос, когда рот стиснут: тяжело, хрипло, с всхлипом на выдохе.

Я подтянулся по скату и увидел его.

Стеблов сидел на дне ячейки, вжавшись спиной в стенку, и держался правой рукой за левое плечо. Ячейка была открыта на метр двадцать, не больше, и его в ней было видно от лопаток. Бруствер перед ним лежал разворочённый — мина легла точно на насыпь, разбросала мёрзлые комья, и там, где была насыпь, теперь была плешь.

Иней вокруг него был белый.

А по белому шло чёрное — расползалось от его локтя вниз, к дну, и оно блестело, когда с неба падал очередной зелёный свет.

Кровь в темноте не красная. Кровь в темноте чёрная и блестящая, как разлитый мазут, и первое, что человек чувствует, увидев её, — это не жалость и не ужас, а очень трезвая и очень холодная мысль: сколько уже вытекло и сколько осталось.

— Стеблов. Гаврила. Смотри на меня.

Он посмотрел. Лицо было перекошено на одну сторону, будто ему свело челюсть.

— А-а, — сказал он сквозь зубы. — А-а, мамка.

— Слышу. Руку убери с плеча. Убери, говорю, я посмотрю. Убирай.

— Не могу.

— Можешь. Я считаю до трёх, и ты убираешь. Раз. Два.

Он убрал. Я нашарил разрыв на гимнастёрке — рваный, с завёрнутыми внутрь краями, — и сунул пальцы прямо туда, где было горячо и мокро. Он дёрнулся всем телом.

Плечо. Верх плеча, ближе к суставу, ближе к ключице. Кость я нащупал целую, а вот мышца была вскрыта поперёк.

— Гаврила, слушай сюда. Ты живой и останешься живой. Слышишь? Кость целая, я щупал. Это мясо, а мясо зарастает.

— Течёт же.

— Течёт. Сейчас перестанет.

— Ты откуда знаешь, что кость?

— Оттуда, что я её пальцем трогал. Кость, когда ломаная, под пальцем ходит и хрустит, а твоя стоит как стояла. Верить мне?

— Верю, — сказал он и тут же, без перехода: — Рука-то будет?

— Будет рука.

— Мне ей работать. Я плотник, у меня отец плотник и дед плотник. Мне без руки домой лучше не ходить.

— Гаврила, у тебя мясо рассечено поперёк. Оно зарастёт и стянет, и месяца два ты этой рукой будешь только ложку держать, а потом расходишь. Плотником будешь. Топор — он у тебя, между прочим, в правой ходит, а не в левой.

— В правой, — согласился он и коротко, хрипло вдохнул. — Слышь. Я тут ночью насыпь хотел подкидать. Мне лопата нужна была, я у Дьячкова просил.

Я на секунду замер с рукой в его крови.

— И что Дьячков?

— Сказал — до утра погоди, лопаты счётные, и старший спит. Я и погодил. — Он дёрнул подбородком, будто отгонял муху. — Погодил, ага.

Вот тут я и наткнулся носом в самое своё безнадёжное место — в разницу между тем, что у меня в голове, и тем, что у меня в руках.

В голове у меня было полное, отработанное знание: турникет на четыре пальца выше раны, гемостатик в полость, окклюзионка, если грудь. Пальцы уже пошли к бедру, к тому месту, где двадцать лет висел подсумок.

На бедре ничего не было.

У меня был индивидуальный пакет в кармане шинели, и я даже не был уверен, что он там есть, потому что получал его в суете и сунул не глядя. У меня были две пары рук — мои и его, одна из которых уже не работала. И у меня был кусок мешковины на дне вчерашней ячейки, метрах в ста двадцати отсюда.

А самое главное — плечо. На плечо жгут не наложишь. Плечо — это то место, где ни одна перетяжка ничего не даёт, потому что перетягивать нечего, там сустав и подмышка.

Значит, давление. Значит, просто и грубо, руками и весом.

— Ты, — сказал я, шаря по карману и находя-таки бумажный пакет, — вот сейчас будет неприятно. Терпи.

Я разорвал обёртку зубами, потому что пальцы были мокрые и скользили, вытряхнул подушечку и вдавил её в рану — не приложил, а вдавил, всем основанием ладони, как давят на грудину. Он взвыл сквозь стиснутые зубы и попытался меня отпихнуть здоровой рукой.

— Терпи. Терпи, Гаврила, я тебе не враг. Второй рукой держи мою руку и жми. Жми на мою. Вот так.

— Больно!

— Больно — это хорошо. Больно — это значит, ты чувствуешь и в голове у тебя ясно. Вот когда станет тепло и хорошо и захочется прилечь — тогда ты меня зови и ори в голос, понял?

— Понял.

Он схватился. Ладонь у него была огромная, крестьянская, и хватка даже сейчас такая, что мне косточки свело.

Наверху шла работа. Пулемёт с той стороны заработал длинно, с потягом — не короткими, как учат, а длинными, наглыми очередями, и по этой наглости я понял, что они не боятся ответа. Наши винтовки отвечали вразнобой, редко, и вот это было хуже всего: если люди стреляют вразнобой и редко, значит, они не видят цели и стреляют в темноту, чтобы не так страшно было.

— Ты только не бросай тут, — сказал Стеблов вдруг совершенно ясно, тихо, почти в ухо. — Ты, слышь. Не бросай тут.

Я знал, зачем это говорится. Я это слышал раз двадцать за свою жизнь и один раз чуть не сказал сам. Человек в такую минуту боится не смерти, он боится остаться один.

— Гаврила, — сказал я. — Я тебя понесу через двадцать секунд. Не через двадцать минут — через двадцать секунд. Считай со мной, если хочешь. Раз, два, три.

— Четыре, — сказал он.

— Вот. Пять, шесть.

Считал он до восьми, потом сбился и стал просто дышать, и я досчитал за него, потому что счёт вслух в такие минуты держит человека лучше любых уговоров: пока считаешь, есть время, а пока есть время, ты живой.

А сам в это время думал совсем не о счёте.

Я думал, что вчера вечером Бортников снял меня с ночного наряда. Что снял он меня из-за колена, и снял правильно, и я даже промолчал тогда, потому что понимал арифметику. И что на крайний отрезок, на самый недорытый, поставили того, кто был свободен.

То есть Стеблова.

То есть это моё место, и я с него ушёл, а он на него встал.

И тут вот такая штука. Не будь меня — Стеблов всё равно стоял бы где-нибудь, и всё равно куда-нибудь легла бы мина. Это я знал головой. Это была чистая правда, и никакой суд бы меня не осудил, и Бортников бы не осудил, и сам Стеблов не осудил бы, потому что он даже не знал, что вчера тут был кол мой.

Но есть вещи, которых голова не решает.

Есть счёт, который человек ведёт себе сам, и в этом счёте не спрашивают, справедливо оно или нет.

— Восемнадцать, — сказал я вслух. — Деятнадцать. Двадцать. Пошли, Гаврила.

Тащить человека с раной в плече одному — это отдельная наука, и вся она сводится к тому, чтобы не тянуть за раненую сторону. Я подлез под его здоровую руку, взял за пояс, поднял и понял, что не подниму: он был меня килограммов на пятнадцать тяжелее и весь обмяк.

— Гаврила, ноги. Ноги у тебя целые. Мне тебя не поднять, я тощий. Ставь ноги и переставляй.

— Не могу.

— Можешь. Ты вчера ведро с землёй шестьдесят раз таскал, я тебя видел. Ставь ногу.

— Ноги ватные.

— Ватные ноги ходят. У них это лучше всего и получается — ходить, когда не хочется. Ставь правую. Вот. Теперь левую. Теперь опять правую, и не думай про них, думай про меня, я тебе тут сейчас без остановки говорить буду, ты слушай.

— Про чего говорить-то будешь?

— Про что закажешь.

— Про бабу какую-нибудь, — сказал он и всхлипнул на выдохе не то от боли, не то от смеха.

— Гаврила, я тебя умоляю, у меня из баб в запасе одна тётка Матрёна из Кузнецова, а она мужику страшнее любой мины. Давай я тебе лучше про то, как у нас сосед корову с крыши снимал.

— Корову? С крыши?

— С крыши сарая, — сказал я, и мы двинулись.

## Глава 7. Ватные ноги ходят



Он поставил ногу.

Мы пошли — если это можно назвать «пошли»: он висел на мне левым боком, я держал его за пояс и за ремень, и мы двигались короткими рывками вдоль дна промоины, к оврагу. Каждый рывок через земляной выступ он встречал коротким вскриком, потом стискивал зубы так, что я слышал скрип, будто пилили сухую доску. На третьем выступе он вцепился здоровой рукой мне в рукав шинели и уже не отпустил до самого конца, и рука эта дрожала — не от холода, я это чувствовал сквозь сукно, дрожь была другая, глубокая, из самой кости.

Над нами прошла очередь. Не близко — метра три над кромкой, но три метра — это близко настолько, что слышно, как воздух рвётся, и я невольно вжал голову в плечи, хотя знал прекрасно, что это движение бесполезно и только сбивает шаг.

— Ниже, — сказал я. — Голову ниже. Ты у нас теперь красивый, тебе беречься надо.

— Чего?

— Ранение в плечо, Гаврила. Ты понимаешь, какой это козырь? Тебе теперь любая девка в тылу поверит с первого слова, а мне придётся врать десять минут и всё равно не поверят.

Он издал звук, который при других обстоятельствах, наверное, был бы смехом, а сейчас вышел коротким, сдавленным хрипом, и я почувствовал, как от этого хрипа у него дрогнуло всё тело, привалившееся ко мне.

— Врать-то чего будешь?

— Что осколок прошёл в трёх волосках от сердца и я его вынул зубами.

— Не поверят.

— Вот и я говорю — не поверят. А тебе верить и не надо будет, у тебя дырка казённого образца, с бумагой. Шагай, шагай, ещё двадцать шагов.

Ход сообщения к санитарному пункту начинался прямо от кромки оврага и шёл вниз наискось — вернее, не начинался, а был наспех расширен за вчерашний день из природной ложбины. Ширина в плечи, стенки осыпаются, дно вязкое. Я почувствовал, что оно вязкое, потому что каждый мой шаг забирал землю и тащил её дальше, и через двадцать шагов под

ногами была уже не земля, а густая мешанина, чавкавшая и хватавшая сапог за голенище, и я тянул ногу с усилием, будто вытаскивал её из чужой хватки.

У входа рядом стояли цинковые коробки с патронами — их с вечера свалили сюда, потому что больше некуда, — и я плечом задел крайнюю, и она загремела как барабан, и от этого грохота у меня внутри всё сжалось, будто я выдал нас обоих с головой.

— Осторожней, — сказал изнутри ровный голос. — Сюда неси. Клади на левый бок, головой ко мне.

Внутри, в расширении величиной с хорошую собачью конуру, горела одна коптилка. Одна. Гильза с фитилём, воткнутая в земляную ступеньку, и вокруг неё жёлтый круг диаметром в полтора шага, а дальше темнота, густая, как вода, в которой не видно собственной руки, если её отвести на шаг в сторону.

Фельдшер сидел на корточках. Немолодой, сухой, лицо в глубоких продольных морщинах, очки в тонкой оправе — и одно стекло треснуто через всю поверхность и держится на суровой нитке, обмотанной вокруг дужки.

Я положил Стеблова, как было сказано, стараясь опустить его плавно, а не бросить, хотя руки уже гудели и просили сбросить груз побыстрее.

— Куда попало?

— Плечо. Верх, ближе к ключице. Кость целая.

— Кто щупал?

— Я.

— Чем давил?

— Пакетом. Основанием ладони, минуты три с половиной.

Фельдшер поднял глаза на секунду, посмотрел на меня коротко, оценивающе, и снова опустил взгляд на рану.

— Держи ногу, — сказал он, не глядя на меня. — Вот эту. Прижми к земле и не отпускай, он дёргаться будет.

Я прижал, вложив в это весь свой вес, потому что уже понимал: одной рукой такое не удержишь.

— Сильнее жми. Коленом сверху, руки тебе ещё понадобятся. Вот так. Теперь свети.

— Чем светить?

— Гильзу возьми и держи слева от меня, на локоть ниже моей руки. Ниже, я сказал. Мне тень нужна на краю раны, иначе я её края не вижу.

Я взял коптилку — она была горячая у самого основания, обжигала пальцы, но выпустить я её не мог, — и держал её так, как он велел, а он в это время работал.

Дальше я минуты две смотрел на руки — потому что смотреть в этой яме было больше не на что, а руки заслуживали того, чтобы на них смотреть. Длинные, ровные пальцы, желтоватые от йода ногти, и двигались они с той экономностью, которая берётся только из тысяч повторений. Ножницы вошли под ткань гимнастёрки и прошли по ней разрезом от ворота вниз — одним движением, без пилки. Пальцы развели края раны, глянули, свели обратно. Тампон. Второй. Бинт пошёл через плечо и под мышку восьмёркой, туго, каждый оборот с подтягом, и от этого подтяга Стеблов вздрагивал, но не кричал больше, только дышал часто и коротко, как загнанная лошадь.

— Ну-ну, милоч, — говорил фельдшер тихо, себе под нос, ровным будничным голосом, — потерпи, дело нехитрое, тут и глядеть не на что. Ну-ну.

— Батя, больно, — сказал Стеблов, и голос у него сорвался, ушёл куда-то вниз, будто из горла вынули весь воздух разом.

— Знаю, что больно. Дыши носом, ртом не хватай, а то замутит. Носом. Вот так.

Стеблов дёрнулся всем телом, и я почувствовал, как под моей ладонью и коленом напряглась его нога, будто хотела вырваться, уйти от боли сама по себе, независимо от хозяина.

— Держи крепче, — сказал фельдшер. — Одна коптилка на весь ход, я и то видал похуже, да не намного.

И замолчал.

Больше он не сказал ни слова минуты три, и в эти три минуты я успел разглядеть всё, что мне надо было разглядеть, и запомнить это так, как запоминают долг, — а руки у меня в это время затекали от неподвижности, и я боролся с желанием сменить хватку, потому что любое движение сейчас было бы лишним.

Тесно. Двое взрослых мужиков и один лежачий — уже полно. Второго лежачего сюда положить некуда, разве что поперёк первого. Свет — одна гильза, и он бьёт снизу, и от этого все тени на теле лежат вверх ногами, и рану в таком свете надо не столько видеть, сколько щупать. Дно — грязь, которую я сам сюда натаскал сапогами за двадцать шагов, и на этой грязи лежит человек с открытой раной. Ни настила, ни соломы, ни доски.

Всё это чинится. Настил — это четыре жерди и охапка лапника, час работы. Второй свет — это ещё одна гильза, кусок шинельного сукна на фитиль и топлёный жир, полчаса. Ступеньку у входа срезать, чтоб не спотыкались с ношей, — двадцать минут.

Я стоял на коленях в этой грязи, держал чужую ногу и составлял список, как вчера составлял список на переход, и от этого счёта, странным образом, становилось легче — руки хоть и затекали, но голова занималась делом, а не тем ужасом, что творился у неё перед глазами.

Второй раненый пришёл, пока я его составлял.

Снаружи загремело — та самая цинковая коробка у входа, — и кто-то с натугой сказал: «Осторожно, батя, осторожно», и в проём боком, задом, протиснулись двое, волоча третьего, и я услышал, как чьи-то сапоги скользят в вязком дне, как кто-то охнул, оступившись.

Третьим был боец из соседнего отделения — фамилии я не знал, но узнавал короткую шинель и ремень, затянутый на последнюю дырку. Лица видно не было: голова лежала у одного из несущих на груди и моталась из стороны в сторону, будто у куклы с оборванной ниткой.

— Куда его? — спросили сверху, и в голосе была та растерянность, которая бывает у человека, впервые тащившего тяжело раненного и ещё не понявшего, что с этим делать дальше.

— На пол, — сказал фельдшер, не поднимая головы от Стеблова. — Поперёк, к стене. Больше некуда.

Его положили поперёк, к стене, ровно так, как я и просчитал минуту назад. Я на секунду не смог двинуться: одно дело увидеть, что второго класть некуда, другое — увидеть через минуту, как второго кладут именно туда, и понять, что твой список сбился раньше, чем ты успел его записать где-нибудь, кроме собственной головы.

— Живот, — сказал один из несущих, и голос у него дрогнул на этом слове, будто оно не хотело выходить изо рта. — Батя, у него живот.

Фельдшер закончил оборот бинта, подтянул, закрепил и только тогда повернул голову. Всего на секунду. Но в этой секунде было столько, сколько иной раз не бывает в целой минуте разговора: он взглянул, оценил, и лицо его не изменилось ни на волос, и вот это отсутствие перемены пугало больше всего.

— Гильзу ближе, — сказал фельдшер. — Ещё ближе. Ногу не отпускай.

Я подтянул огонёк и снова прижал ногу Стеблова коленом. Смотреть на открытую рану второго бойца не хотелось, но не слышать работу было невозможно: короткие команды, шорох ткани, сдержанный стон.

— Воды не давай ему, — сказал фельдшер одному из несущих. — Просить будет — губы смочи. Понял? Просить будет сильно.

Я держал чужую ногу и очень отчётливо понимал цену одной ноги на нашей опушке: одно плечо и один живот. Невысказанное слово стало в груди пустым холодным местом.

Второй раненый будет ещё. Второй раненый всегда бывает, и обычно он бывает раньше, чем ты успел приготовиться.

— Всё, — сказал фельдшер. — Отпускай ногу. Гильзу поставь, где взял. Наверх иди, там твоё.

— Он живой будет?

Фельдшер поднял голову и в первый раз посмотрел на меня — поверх треснувшего стекла, короткий взгляд, оценивающий, будто мерил не меня, а то, сколько от меня будет толку.

— Кость целая, — сказал он. — Крови потерял прилично, но не смертельно. К обеду отправлю с обозом. Тебя как звать?

— Гринёв.

— Гринёв, — повторил он, будто положил на полку. — Ты давил правильно. Это и удержало в нём кровь до моей перевязки. Кто научил?

— Дед научил, — сказал я. — У нас в деревне мужики в лесу пилой работали, там резались часто.

— Дед. — Фельдшер вытер пальцы о тряпку, каждый по отдельности, не торопясь, будто это была отдельная маленькая работа со своим порядком. — Ну, дед так дед. Слушай сюда, раз ты тут. Днём придёшь и принесёшь мне жердей. Четыре штуки, в руку толщиной, и лапника охапку. Настил класть буду.

— Настил и я положу, если разрешите. Мне это часа хватит.

— Разрешу. — Он поправил очки одним движением пальца, и нитка на дужке качнулась. — И ещё вот что скажи своему сержанту. У меня тут одна коптилка, и я в неё гляжу, как крот из норы. Мне надо две. И ступеньку у входа срезать, потому что каждый, кто с ношей входит, об неё спотыкается, а спотыкается он вместе с раненым.

— Скажу.

— И патронные ящики от входа уберите. — Голос у него так и остался ровным, без единого подъёма. — Их вечером сюда свалили, а тут раненых носят. Человек боком протискивается, за угол цепляет, и я потом эту его царапину лечу заодно с миной. Понял, нет?

— Понял. Уберём сегодня.

— Иди.

Я вылез из хода сообщения обратно на кромку, и первое, что меня встретило, был холод — я, оказывается, взмок насквозь, гимнастёрка липла к спине, и теперь всё это стало ледяным, будто на меня вылили ведро воды, и я непроизвольно повёл плечами, пытаясь отодрать мокрую ткань от кожи.

А второе, что меня встретило, — картинка.

Я поднялся к линии, упал за первый попавшийся куст и стал смотреть, потому что смотреть — это единственное, что я тогда мог делать лучше всех вокруг, а руки у меня всё ещё подрагивали от напряжения последних минут, и я сжал кулаки, чтобы унять эту дрожь.

Немецкий пулемёт бил из левого выступа кустарника. Того самого, где вчера тень была шире куста. Он бил длинно и с ленцой, вразвалку, и через каждые несколько очередей в ленту у них попадал трассирующий — не через один, как принято сейчас, а изредка, вразброс, и вот эти изредка и были для меня подарком.

Потому что трассер видно.

Трассер — это линия в воздухе, оранжевая, короткая, и она рисует тебе то, что человек обычно не видит: путь пули.

Я лежал и смотрел на эти линии минуты полторы, прижавшись щекой к мёрзлой стерне, чувствуя, как колючие стебли впиваются в кожу, и в голове у меня, помимо всякого моего желания, работала та часть, которую нельзя выключить.

Он бьёт выше.

Не на палец выше. Выше на добрый метр, а местами и на полтора. Трассы шли над бруствером и уходили в темноту за линию, и там, за линией, они сгорали и гасли. Ни одна за эти полторы минуты не воткнулась в насыпь перед нашими людьми.



И левее.

Тоже не чуть-чуть. Он вёл огонь широкой полосой, и центр этой полосы приходился на пустое место — на тот участок, где вчера взводный вымерял по книжке уставную линию и где мы в итоге ничего не рыли, потому что я увёл разметку вправо, в складку.

Я лежал в мёрзлой стерне и чувствовал, как у меня по спине идёт то самое, за что я в прежней жизни любил свою работу больше всего на свете, — холодок, который не имеет отношения к страху, а имеет отношение к пониманию.

Он бьёт по линии, которой нет.

Вчерашний дозор — тот, что мы приняли на старом участке, — ушёл и доложил. Доложил, где обороняются русские, и, скорее всего, доложил, как эта оборона выглядит: ровная линия окопов полного профиля, с бруствером в такую-то высоту, идёт вот так. Он же не соврал. Он видел на старом участке именно это.

А потом рота снялась, ушла на два километра левее и назад, и за один день накопила здесь то, что успела. Одиннадцать ячеек вразброс, по складке, уступом, в кустах, где ниже, где выше, и на крайнем отрезке — две ладони мёрзлых комьев вместо насыпи.

И этот расчёт в кустах сейчас пристреливается по тому, чему его учили: по нормальному брустверу нормальной высоты. Он ищет глазами контур — и находит там, где выше и ровнее. А выше и ровнее у нас — старый плетень, оставшийся от чьего-то огорода, и куст волчьей ягоды, и отвал земли, который Дьячков вчера вывалил не в овраг, а поленился и вывалил у себя за спиной, за что я его же вчера и ругал.

Тут я тихо и нехорошо засмеялся, лёжа мордой в стерне, и почувствовал, как этот смех отдаётся в груди чем-то вроде судороги, не то весельем, не то напряжением, которому надо было куда-то выйти.

Потому что вчера весь день я мучился одним: линия недоделана. Одиннадцать вместо тридцати шести. Профиль неполный, бруствер низкий, укрытий нет. Я лёг спать с этой цифрой и проснулся с ней.

А эта самая недоделанность нас сейчас и спасала.

Ровный, красивый, уставный окоп — это, среди прочего, окоп, который видно и который читается. По нему пристреливаются один раз и потом кладут куда надо. А то, что накопили мы, не читалось вообще. Оно не было похоже на оборону. Оно было похоже на неубранное поле с кустами.

— Господи, — сказал я вслух самому себе, — а ведь если это не портить, оно будет работать.

И вот тут — вот ровно с этой секунды — у меня в голове перестало быть везение и началась работа.

Потому что везение — это когда тебе повезло. А работа — это когда ты берёшь то, что тебе повезло, и начинаешь это усиливать.

Он ищет контур. Дай ему контур.

Дай ему контур там, где никого нет, и подними этот контур повыше, чтоб глазу было приятно, и он сам туда сядет со всем своим боекомплект, потому что человек с пулемётом бьёт туда, где видит цель, а не туда, где цель есть.

Я пополз вдоль линии вправо, к крайнему отрезку, чувствуя, как локти и колени снова обдирает мёрзлая земля сквозь ткань, и как саднят ссадины, полученные ещё вчера и не успевшие затяннуться.

Проход лежал в четвёртой ячейке от края, и я узнал его по спине раньше, чем по лицу, — он лежал, вжавшись в стенку, и стрелял вверх. Прямо вверх, в небо, задрал ствол.

— Проход.

Он дёрнулся так, что чуть не сел, и винтовка в его руках качнулась, едва не задев мою голову прикладом.

— Андрюх! Живой?!

— Живой. Ты чего в небо палишь?

— Я не в небо!

— Прохор, ты бьёшь по звёздам. Ты сейчас с ними воюешь, а они, между прочим, нейтральные.

— Я не вижу ничего! — заорал он с отчаянием, и голос его сорвался, ушёл в петушиную ноту. — Куда стрелять-то?!

Вот это и было главное горе всей нашей линии в эту ночь. Люди не видели цели и от страха стреляли, чтоб не молчать.

— Слушай сюда. — Я лёг рядом, боком, и повернул его голову рукой, как поворачивают, чтобы человек точно посмотрел туда, куда надо, и почувствовал под ладонью, как напряжены у него мышцы шеи, будто натянутый канат. — Видишь на опушке два выступа кустов? Левый и правый.

— Ну.

— Левый. Вот от него сейчас пойдёт огонёк — и не один, а часто, дробно, будто спички чиркают. Жди. Вот!

Пулемёт заработал, и в кустах замигал.

— Вижу!

— Это он и есть. Он от тебя в трёхстах шагах. Ты в него из винтовки, скорее всего, не попадёшь, и я не попаду. Но ты по нему стреляй ровно туда, в эту мигалку, и целься чуть ниже неё, потому что вниз мимо лучше, чем вверх мимо: вниз мимо — это рикошет и земля в морду, и оно ему неприятно.

— А зачем, если не попаду?

— Затем, Прохор, что человеку под огнём хуже стреляется. Он голову пригибает. Он очередь делает короче. Он на секунду перестаёт смотреть в прицел. И каждая такая секунда — это чей-то не убитый.

— Понял.

— Сколько у тебя патронов?

Он завозился, зашарил по под сумку, и я услышал, как звякнули обоймы.

— Обойма в винтовке и три в под сумке.

— Значит, двадцать штук. Двадцать, Прохор, и до рассвета ещё час. Стреляй по одному, только когда вспышка снова покажется, и после каждого считай до пяти, вслух считай, я тебе разрешаю. Пять посчитал — не стреляй сразу, жди новой длинной очереди. Так ты не выжжешь двадцать за две минуты и не останешься с пустой винтовкой на всю длинную ночь.

— А если они полезут?

— Если полезут — я тебе скажу, и ты забудешь про счёт и будешь бить как можешь. Я тут рядом, я вижу. Ты мне веришь?

— Верю.

— И вот ещё что. Держи мне этот сектор. От левого куста до вон той одинокой берёзы. Смотри туда и кричи мне, если оттуда что-то шевельнётся. Прямо кричи: «Андрюха, шевелится». Я на тебя надеюсь.

— А чего кричать-то, если я не разберу — человек или куст?

— Кричи, даже если куст. Пусть я десять раз обернусь на куст и один раз на человека — это дешевле, чем один раз не обернуться.

— Понял. А ты куда?

— Работать, — сказал я, и уже отползая, услышал, как за спиной у меня Прохор выстрелил один раз, ровно, и начал считать вслух, сбиваясь на третьей цифре, но не бросая счёта.

## Глава 8. Портрет бруствера



И пополз к плетню.

Плетень — это была чужая изгородь. Метрах в двадцати за нашей линией, ближе к оврагу, кончался чей-то бывший огород — Пески-Хутор стоял отсюда через овраг, и хутор этот люди бросили дней десять назад, оставив всё, включая три грядки промёрзшей ботвы и вот эту изгородь: колья, вбитые в землю через полтора шага, и промеж них — плетение из ивняка и орешника, толщиной в палец, уже пересохшее и звонкое.

От него я вчера отломал три жерди и получил за это выговор от Бортникова, потому что жерди в отделении числятся, а плетень нет, и трогать чужое, даже брошенное, у него в голове было записано отдельной строкой. Я это помнил и полз к плетню с тем неприятным ощущением, что снова делаю то, за что уже получил, только теперь получить будет некогда — время не то.

Я подполз, встал на колени и начал ломать.

Ломался он тяжело и громко. Ивовые прутья, промёрзшие насквозь, отдавались с треском, который в паузах между очередями казался мне выстрелом, и каждый такой треск отдавался у меня где-то под ложечкой холодной судорогой — сейчас услышат, сейчас ударят на звук. Я выдирали их пучками, вместе с переплётom, и каждая охапка выходила как хороший сноп — метра полтора длиной, растрёпанная, и держалась вместе только собственной кривизной. Ладони уже саднили от вчерашнего, и новые прутья снова и снова проходились по старым ссадинам, и я стискивал зубы и не позволял себе останавливаться, потому что останавливаться сейчас значило думать о боли, а думать надо было о другом.

Три охапки. Я насчитал себе три и решил, что больше не унесу.

Потом соломы.

Солома лежала за плетнём, у бывшего огорода, — прошлогодняя, чёрная снизу, слежавшаяся, с той прелой пылью, от которой сразу начинает свербеть в носу. Я набрал её в охапку, прижал подбородком и пополз обратно, чувствуя, как труха лезет за воротник, щекочет шею,

а нос уже дёргается на грани чиха, который здесь означал бы верную смерть, и я зажал переносицу пальцами и держал так, пока позыв не прошёл.

И вот тут началось самое паршивое.

Ползти с охапкой соломы и снопом ивняка нельзя. Технически нельзя: у тебя заняты обе руки, и ты не ползёшь, а перемещаешься на локтях и коленях, поднимая корпус выше, чем позволено. То есть ты становишься тем самым, чем ни в коем случае нельзя становиться на линии, — вертикальным.

Я прополз так двадцать шагов и лёг, потому что очередь прошла слева и низко, и я всем телом вжался в мёрзлую землю, чувствуя, как комья впиваются в живот сквозь шинель, а солома у меня под подбородком хрустнула и осыпалась мне же на лицо.

Полежал. Отдышался — грудь ходила часто, будто я пробежал версту, хотя пробежал я от силы двадцать шагов, и всё на четвереньках. Пополз дальше.

— Гринёв, ты сдурел?! — заорали справа. Голос был чужой, с хрипотцой, и я не сразу понял чей. — Куда прёшь с сеном?!

— Строиться!

— Чего?!

Из ячейки в трёх шагах приподнялась голова, и я её узнал. Опарин. Он пришёл в отделение вчера утром, вместе со Стебловым, — мужик лет тридцати пяти, с рыжими залысинами и очень громким мнением по любому поводу, и за один день он успел мне сообщить, что копаю я не так, что колья ставлю не там и что молодым нынче слишком много воли.

— Опарин, у тебя лопата в ячейке?

— Ну есть.

— Дай.

— Не дам. Она за мной записана.

— Опарин, мне надо снопы в мёрзлое воткнуть, я их руками не воткну.

— А я тебе говорю — записана. Ты вчера тут с колышками бегал, распоряжался, вот и распоряжайся дальше без моей лопаты.

Спорить было некогда, а некогда — это самое поганое состояние для разговора, потому что человек тогда говорит первое, что подвернётся, и обычно портит всё на неделю вперёд.

— Ладно, — сказал я. — Тогда хоть по кустам постреляй, пока я ползу.

— У меня приказ — держать сектор, а не тебя прикрывать.

— Ковалёв! — заорал я, разворачивая голову влево.

— Чего тебе?!

— Дай две очереди в левый куст! Прямо сейчас, две штуки, длинные! Прижми его на десять секунд!

— А потом что?

— А потом я тебе за это буду должен, и ты у меня это возьмёшь чем захочешь!

— У меня диски считанные! — рявкнул он. — Мне их на утро беречь велено!

— Ковалёв, до утра десять минут! Если ты их сбережёшь и меня тут положат, ты этими дисками будешь один за двоих отбиваться!

Секунду он думал. Потом его ДП заработал — сухо, зло, длинной очередью, пока вращался диск, — и в кустах на опушке всё погасло.

Десять секунд.

Я эти десять секунд использовал полностью, и ещё три сверху, и все эти тринадцать секунд я потратил на бег на карачках, задыхаясь, роняя по дороге прутья и подбирая их снова, потому что бросить хоть один сноп означало вернуться за ним под чужим огнём.

Добрался до крайнего отрезка — до той самой ячейки, из которой полчаса назад вытащил Стеблова. Кровь на инее уже прихватило морозом, она стала не блестящей, а матовой, тёмно-бурой, и корка на ней хрустнула, когда я по ней прополз, и от этого хруста меня повело —

на секунду замутило, и я сглотнул и пополз дальше, потому что дальше было единственное направление, куда можно было ползти.

Мне надо было сделать очень простую вещь.

Не бруствер. Бруствер — это укрытие, а укрытие делается из земли и делается долго. Мне нужен был не бруствер, а его портрет.

Я поставил снопы ивняка стоймя, наискось, вдоль плечи, которую разорвала мина, — воткнул нижние концы в мёрзлые комья и подпёр друг об друга, домиком, так что вышел гребень высотой мне по грудь, если сидеть. Сверху набросал соломы и придавил её теми же комьями. Потом отполз шагов на пятнадцать в сторону и посмотрел.

Вот тут и была вся хитрость, и хитрость эта — не в постройке, а во взгляде.

Я смотрел на свою работу не своими глазами. Я смотрел на неё глазами того человека, который лежит сейчас за пулемётом в трёхстах шагах, в темноте, у которого слезится глаз от ветра и от собственных вспышек, и который ищет в этой темноте одно: ровную горизонтальную полосу, которая темнее фона снизу и светлее сверху.

И он её теперь нашёл.

Иней. Вот в чём было дело, и вот на что я поставил.

Весь наш бруствер был выбелен инеем, потому что земля мёрзлая и сырая, и первые заморозки её прихватили, и каждая вспышка выстрела давала на этой белизне матовый отблеск. А солома инея не держит — она сухая и тёплая, она отдаёт свет иначе, и в ночной темноте, при мигающем свете, охапка соломы на комьях читается как высокий, ровный, набитый гребень. Красивый гребень. Гребень, каким его рисуют в наставлении.

И стоял он на полтора метра левее того места, где сидели живые люди.

— Гринёв! — донеслось от Бортникова, откуда-то из середины линии. — Ты что там строишь?!

— Бруствер!

— Из соломы?!

— Так точно!

— Немедленно вниз!

— Товарищ сержант, десять секунд!

— Три!

— Восемь!

— Гринёв, я тебе не на базаре!

— Восемь секунд, товарищ сержант, и он всю ленту сюда высадит! — заорал я, уже волоча третий сноп, чувствуя, как ноги подкашиваются от нехватки воздуха и как сноп цепляется за каждый бугор земли. — Он бьёт выше нас на полтора метра! Он ищет глазами насыпь, а я ему её показываю не там, где мы!

Секунды две ничего не было слышно, кроме пулемёта.

— Восемь! — рывкнул Бортников. — И считать буду я!

Я подполз обратно и добавил третий сноп, вытянув гребень ещё на два шага влево, в совсем пустое место, где не было ни ячейки, ни человека, и рукой ещё поправил солому, вдавливая её плотнее, потому что каждая лишняя минута работы сейчас стоила дороже любой другой минуты за весь день.

И на этом третьем снопе меня и застало.

Очередь пришла точно в гребень.

Она пришла в него так хорошо, так по-хозяйски точно, что я даже с земли, лёжа лицом в мёрзлое, успел этому обрадоваться раньше, чем испугаться. Солома взлетела ключьями, ивняк защёлкал и посыпался, один прут ударил меня по спине, и в лицо мне швырнуло горсть смёрзшейся земли, и я лежал и чувствовал, как в трёх ладонях над моей головой проходит воздух, разрезанный на полосы, и в горле у меня стоял ком, и я глотал землю пополам со слюной и

не мог откашляться, потому что кашель сейчас был бы движением, а движение сейчас было бы смертью.

Он бил в гребень.

Он бил в гребень и переносил вдоль него, влево, туда, где я вытянул, — потому что человек, найдя контур, ведёт по контуру.

А за спиной у меня, справа, в тридцати шагах, лежали в своих кривых, недорытых, некрасивых ячейках Прохор, Дьячков, Опарин и Ковалёв со своим ДП, и через них не прошло ничего.

— Андрюха! — заорал Прохор, и голос у него сорвался в самую верхнюю ноту. — Андрюха, шевелится!

— Где?!

— От берёзы вправо! Двое, что ли! Или куст!

— Молодец! — крикнул я в землю, потому что поднять голову было нечем. — Бей туда! Три патрона подряд, и пониже! Ковалёв, у берёзы!

— Вижу берёзу! — отозвался Ковалёв.

Я отполз задом, по-рачьи, метров на десять, свалился в промоину и там уже сел и позволил себе десять секунд ничего не делать.

Руки тряслись. Обе. Тряслись мелко и противно, и я на них посмотрел и сказал вслух:

— Ну не позорься.

Они не послушались. Тогда я плюнул и полез наверх, потому что десять секунд кончились, а от того, что я досижу в промоине ещё десять, ничего не изменится, кроме того, что руки успеют затрястись сильнее.

Огонь с той стороны стал другим. Он стал уверенным — а уверенный огонь противника это, вообще говоря, лучшее, что с тобой может случиться, если он уверенно бьёт не туда. Пулемёт долбил по соломенному гребню и по пустому месту левее, миномёт положил две мины в тот же район — обе в чистое жнивье, подняв два столба мёрзлой земли, каждый раз с гулким, тяжёлым ударом, от которого у меня закладывало уши, — и я, лёжа за кустом, считал их расход и получал от этого счёта чистое, ничем не замутнённое удовольствие.

Пять минут они били в мою солому.

Пять минут — это на слух долго, а на счёт коротко, и я лежал и вёл этот счёт вслух, беззвучно шевеля губами, потому что от счёта телу становилось спокойнее, будто оно занималось делом, а не просто вжималось в землю и ждало.

Потом на левом фланге ударил наш второй взвод — там, оказывается, тоже не спали и разобрались, — и в кустах на опушке замолчали. Ещё через минуту оттуда пошёл отход: я не увидел его, я слышал, как в мёрзлом кустарнике заработали шаги, много и вразнобой, и как кто-то там крикнул одно короткое слово.

— Уходят! — заорал Дьячков. — Мужики, уходят!

— Не орать! — рявкнул Бортников. — Огня не прекращать! Ковалёв, по кустам!

— Лента кончается!

— По кустам, я сказал! Пусть уходят под огнём, а не прогулочным шагом! Дьячков, ты чего в небо смотришь? Считай, сколько ты патронов извёл, доложишь мне через минуту!

— Двадцать шесть! — отозвался Дьячков почти сразу.

— Уже посчитал?

— А я по одному считал, товарищ сержант. Мне Гринёв вчера сказал: считай — будешь знать, чем завтра воевать.

— Гринёв ему сказал, — проворчал Бортников. — Ну хоть кому-то.

Ковалёв дал по кустам ещё три очереди, каждая длиной ровно в такое время, за какое человек успевает сказать «раз-два-три», и потом стало тихо.

Тишина после боя — это никакая не тишина. В ней звенит в ушах, в ней где-то далеко ещё что-то падает, в ней громко и стыдно слышно, как ты сам дышишь. Я лежал и слушал собственное дыхание — оно выходило рваными толчками, и я старался выровнять его, как выравнивают шаг, считая про себя, и постепенно оно улеглось, стало ровнее, и вместе с ним отпустило и в груди. И в этой тишине первым делом всегда раздаётся чей-нибудь дурацкий вопрос.

— А чего это горит? — спросил Прохор.

Горела моя солома. Трассер её всё-таки поджёг, и теперь на крайнем отрезке лениво дымил и потрескивал маленький костерок, освещая снизу разбитые прутья, и по этому мелкому, домашнему совсем свету плясали длинные тени от комьев земли, и всё это выглядело до нелепого мирно — будто кто-то развёл костёр на выгоне пасти скотину.

— Затушить! — крикнул Бортников. — Кто ближе, затушить немедленно!

— Так это ж он сам и наложил! — сказал Опарин из своей ячейки. — Пускай он и тушит.

— А ты, Опарин, ближе всех, и у тебя, между прочим, лопата, которая за тобой записана. Землёй закидай.

— Я землёй закидаю, а она через край ползет.

— Тогда сядь на неё, — сказал Бортников. — Задницей потушишь, дело верное.

Я подполз и стал закидывать её мёрзлыми комьями. Комья не тушили, а вминали огонь внутрь, и он выползал по краям, тлел, дымил, ел мне глаза едкой горечью, и я в конце концов сел на эту солому задницей и погасил её собственной шинелью, о чём немедленно пожалел, потому что запах горелого сукна не выветривается неделю, и я потом весь день ловил его на себе — при каждом движении, при каждом вдохе, будто носил на себе клеймо этой ночи.

Небо на востоке к этому времени стало не чёрным, а тёмно-серым. Это ещё не рассвет, это то, что перед ним, — когда цвета ещё нет, но контуры уже есть, и лица людей проступают из темноты пятнами, и по этим пятнам видно, кто сколько сегодня постарел.

Ко мне подошёл Прохор. Сел рядом на бруствер — на настоящий, не на мой, — и я его за это чуть не столкнул.

— Не сиди наверху.

— Так ушли же.

— Прохор. — Я стянул его за рукав вниз, и он послушно съехал спиной по земляной стенке, глухо стукнувшись о дно ячейки. — Они ушли, а тот один, который у них любит остаться и посмотреть, — он не ушёл. Такой человек есть всегда, и он сейчас лежит вон там и глядит, кто у нас тут высунулся первым. И он тебя запомнит и завтра начнёт с тебя.

Прохор посмотрел на опушку с большим уважением, вытянув шею над бруствером ровно настолько, чтобы видеть, и не больше.

— А ты откуда знаешь, что он там?

— Потому что я бы там остался.

— Ты?

— Я, — сказал я. — Если бы я уводил своих, я бы обязательно оставил одного глазастого. Уходят все шумно, а он лежит тихо и смотрит, кто у противника встал во весь рост, где у них пулемёт и куда носят раненых. И потом он это принесёт и расскажет, и завтра по этим местам положат первые мины.

— Ух ты, — сказал Прохор. — Вот ты страшный человек, Андрюха, когда так рассуждаешь.

— Я не страшный, я запасливый. Слышь. А Гаврила?

— Живой. Плечо. Кость целая, фельдшер сказал — к обеду с обозом отправит.

— Ох ты, — сказал Прохор. Он помолчал, ковыряя пальцем мёрзлый комок земли и кроша его на дне ячейки. — Он же на твоём месте стоял.

Вот так. Прохор Селиванов, девятнадцать лет, три класса и коридор, посчитал это первым из всех — и посчитал вслух, за две секунды, не напрягаясь.

Я кивнул.

— Так это, значит, тебя бы?

— Может, меня. Может, никого. Может, мина легла бы на два шага правее, и мы бы сейчас с тобой про неё не разговаривали.

— А ты чего такой?

— Какой?

— Сидишь и молчишь.

Я поднял со дна другой мёрзлый комок и стал крошить его между пальцами, лишь бы занять руки. На ладонях чернела сажа, в трещинах засохла чужая кровь, и от этого всё, что я собирался сказать, застряло в горле.

— На моём, — сказал я, разламывая комок большим пальцем. — Мы этот отрезок к темноте не докопали, и правильно не докопали: в темноте копают вслепую, потом переделывают. А Гаврила всё равно лежит под бинтом. Обе вещи правдивые, Прохор. И легче от этого никому.

— Так а как надо было?

— Не ждать утра, когда человек просит лопату, — сказал я, смахивая крошку с ладони. — И запомнить: обычно тут не один виноватый, а шестеро делают разумное по чуть-чуть, а расплачивается седьмой.

Прохор нахмурился, покатав в пальцах мёрзлый комок и осторожно спросил:

— Ты за себя, что ли, говоришь?

— За всех, — сказал я и кивнул на склон. — А теперь хватит. Вон уже идёт человек, который за ночь мне и лопату, и счёт предъявит.

Опарин подошёл к нам минуты через три, когда уже совсем посерело, и небо над лесом на востоке налилось той бледной желтизной, которая через полчаса станет рассветом. Подошёл не спеша, вразвалку, с лопатой на плече — той самой, записанной, — и остановился так, чтобы стоять чуть выше нас по склону, и оттуда, сверху, оглядел мою обугленную солому, разбитый плетень, две свежие воронки на жнивье, и в глазах у него было что-то среднее между насмешкой и уважением, которое он ни за что не признал бы вслух.



## Глава 9. Барские руки



Опарин перевёл взгляд с обугленного плетня на меня. Руки у меня всё ещё мелко дрожали, в ушах звенело от ночной стрельбы, а на сером жнивье валялись обрывки соломы, щепки и перевёрнутые минами комья.

За его спиной отделение уже растаскивало ночь по местам. Дьячков ползал вдоль хода и собирал в пилотку порожние обоймы, чтобы не втоптать их в грязь. Ковалёв сидел на корточках у ДП, вытряхивал патроны из начатых пачек и пересчитывал их в пустой диск по одному. Прохор притаптывал сапогом дымящиеся прутья, потом подхватывал их лопатой и прятал под сырые комья, чтобы дым не тянулся над позицией. Двое из соседнего отделения собирали оброченные у плетня лямки и пустые пачки, ругаясь шёпотом, будто громкий голос мог вернуть немцев.

Бой кончился, а работа просто сменила имя. Минуту назад они прятали головы, теперь прятали патроны, дым и всё, что могло пригодиться во второй раз.

— Ну что, герой, — сказал Опарин, стоя над моей ячейкой. — Погрелся?

— Погрелся, — согласился я. — Сукно теперь пахнет как из печки.

— Я не про сукно. Я про то, что ночью-то ты в резерве спал.

Вот оно.

Прохор рядом дёрнулся и открыл рот, и я успел придавить ему колено ладонью, потому что мальчишка сейчас сказал бы правду — что Гринёва сняли с наряда из-за колена, — и правда эта прозвучала бы как оправдание, а оправдание в такую минуту хуже любого обвинения. Прохор поперхнулся тем, что собирался сказать, и я почувствовал под ладонью, как у него напряглась нога, готовая всё-таки вырваться и заговорить.

— Спал, — сказал я. — Часа полтора.

— А Гаврила стоял.

— Стоял.

— На твоём месте.

— На моём месте, — сказал я. — Опарин, ты сейчас говоришь то, что я сам себе сказал двадцать минут назад, лёжа вон в той ячейке. И ты, между прочим, говоришь это хуже, чем я себе сказал, — я себе жёстче формулировал.

Он поперхнулся, потому что готовился к другому, и на секунду его лицо, обветренное, с рыжими редкими бровями, застыло в том выражении, которое бывает у человека, когда подготовленный удар проходит мимо цели.

— А кто тебя в резерв поставил?

— Сержант.

— А чего это он тебя поставил, а не Гаврилу?

— Вот это ты у сержанта и спроси, — сказал я. — Прямо сейчас пойдёшь и спроси. Я тебе даже мешать не буду, я тут посижу и послушаю, потому что мне самому интересно.

— Больно ты языкастый.

— Языкастый, — согласился я. — Это у меня от матери, она у меня в очереди за керосином троих мужиков доводила до слёз, а сама уходила с полным бидоном.

— Ты мне зубы не заговаривай. — Он переступил с ноги на ногу, и я услышал, как под сапогом хрустнул мёрзлый комок. — Я с тридцать пятого года служу, я в финскую сидел в снегу по пояс, а тут мальчишка второй день командует, где копать, где не копать, и все под козырёк. И вот один уже с дыркой.

И вот тут мне надо было очень аккуратно.

Потому что он был прав ровно наполовину, и эта половина была настоящая, и её надо было взять и положить на стол, иначе она осталась бы у него в кармане и он бы её вынул завтра при всех.

— Опарин, — сказал я и встал, чтобы разговаривать глаза в глаза, а не снизу вверх, и почувствовал, как хрустнули колени, отвыкшие за ночь от прямого положения. — Ты в финскую в снегу сидел, а я нет. Тут ты меня кроешь, и крыть будешь ещё долго, я не спорю. Давай я тебе скажу, чего я хочу, а ты скажешь, годится тебе это или нет.

— Ну?

— Я хочу, чтоб к вечеру на этом крайнем отрезке была насыпь в полный рост. Не в две ладони, а в полный рост, и ещё ниша сбоку, чтоб человек мог голову спрятать при разрыве. И я хочу это сделать первым делом, до завтрака, до всего. И одному мне это до вечера не поднять, у меня руки вон какие.

Он посмотрел на мои руки. Руки были всмятку: вчерашние ссадины от плетня, сегодняшние от промёрзшего ивняка, и всё это в саже, в подсохшей крови по краям, с двумя лопнувшими мозолями на ладони, из которых сочилось что-то жёлтое.

— Руки у тебя барские, — сказал он с удовольствием, растягивая слово, будто пробовал его на вкус.

— Барские. И я тебе за это дам поднажить себя ещё раз пять, задаром. А ты мне за это встань на этот отрезок со своей записанной лопатой и покажи, как в финскую копали, потому что я, честно тебе скажу, копать умею хуже, чем считать.

Он молчал секунд пять, и в эти пять секунд смотрел то на меня, то на свою лопату, будто взвешивал её в уме.

— Хитрый ты, — сказал он наконец.

— Хитрый.

— Ты меня сейчас так повернул, будто я сам напросился.

— А ты сам и напросился, — сказал я. — Ты пришёл сюда с лопатой на плече. Кто с лопатой ходит, тот копать и собирался, ты просто ещё сам себе в этом не признался.

Опарин хмыкнул — коротко, недобро, но уже без того ядовитого верха, с которого начал.

— Ладно, — сказал он. — Насыпь я тебе подниму. Только учти: командовать над собой я тебе не дам. Скажешь «надо» — сделаю. Скажешь «Опарин, вот так держи лопату» — пойдёшь ты знаешь куда.

— Куда?

— Знаешь.

— Договорились, — сказал я. — Держи лопату как хочешь. Мне от неё нужен только результат, а не красота хвата.

Бортников появился со стороны хода сообщения — он ходил вниз, к фельдшеру, я это понял по тому, откуда он шёл, по тому, как он вытирал руки о полу шинели на ходу, будто только что чем-то их испачкал.

Остановился над крайним отрезком. Посмотрел на разбитый плетень, торчащий из мёрзлых комьев обугленными прутьями. Посмотрел на выжженное пятно. Потом отошёл на пятнадцать шагов влево, туда, где начиналась настоящая линия, присел на корточки — точно так же, как я вчера, когда прикидывал, что видно снизу, — и посмотрел на всё это с той стороны.

Он сидел на корточках секунд двадцать, и всё это время я стоял и ждал, чувствуя, как под ложечкой ворочается неприятное предчувствие.

Потом встал и пошёл ко мне.

— Гринёв.

— Я, товарищ сержант.

— Ты плетень ломал?

— Я.

— Второй раз за двое суток.

— Так точно.

— Я тебе вчера про этот плетень что говорил?

— Что он в отделении не числится и что чужое брать не надо.

— Правильно помнишь. — Он помолчал, вынул кисет из кармана, но не открыл его, просто перекидывал из руки в руку. — Ну и?

— Он искал бруствер, товарищ сержант, — сказал я. — А у нас на этом отрезке бруствера нет. Я ему его показал. На полтора метра левее, чем надо.

Бортников очень долго на меня смотрел, и в этом взгляде было что-то от того, как смотрят на вещь на прилавке, не решив ещё, покупать её или нет.

— Ты это придумал когда?

— Когда лежал за кустом и стрелял. Мины шли выше нас и левее нас, все до одной, и я стал думать почему.

— И почему?

— Потому что вчерашняя их разведка видела нашу оборону на старом месте. Там линия была ровная, копаная неделю, полного профиля. Они и стреляли по тому, что им доложили. А мы тут за один день накопили как накопили, вкривь и вкось, оно не похоже на окопы, оно похоже на бурьян. — Я пожал плечами. — Расчёт искал глазами то, что должно быть. И нашёл. Я ему помог.

— А солома тебе зачем? Земли мало?

— Земля мёрзлая и белая от инея, товарищ сержант. Она блестит при вспышке, и по ней видно, где насыпь ровная, а где рваная. А солома не блестит, даёт тёмную полосу, ровную по верху. В темноте глаз ищет ровную линию, а не кучу.

— Ты откуда это знаешь?

— Смотрел вчера, как наш бруствер к вечеру инеем взялся, — сказал я. — И подумал, что если я его вижу, то и они видят.

Бортников так и не убрал кисет; перебирал пальцами его шнурок.

— Так, — сказал он. — Значит, вчера я целый день ходил вдоль этой твоей кривизны и злился, что она кривая.

— Так точно.

— И взводный злился.

— Он не злился, он терпел.

— Он терпел, — согласился Бортников. — А получилось, что нас эта кривизна и прикрывала.

— Не вся, — сказал я. — Стеблова она не прикрывала.

Вот это я сказал зря — не потому, что неправда, а потому, что не ко времени и не в тот адрес.

Бортников убрал кисет во внутренний карман, и жест этот был резче, чем все предыдущие.

— Стеблова прикрывать было нечем, — сказал он ровно. — Там насыпи в две ладони. И то, что там стоял он, а не ты, решил я. Один. Вчера вечером. И решил бы так же ещё раз, потому что ты вчера ходил на одной ноге, а мне утром нужен был человек, который умеет смотреть. И вот он посмотрел, и вот из-за этого сейчас у меня отделение целое, кроме одного. Ты меня понял, Гринёв?

Я стоял и молчал, чувствуя, как холодный воздух режет горло на каждом вдохе, и как где-то в груди ворочается тяжесть, которую нельзя было ни выдохнуть, ни проглотить.

Он сказал ровно то, что я сам себе говорил час назад, лёжа в своей ячейке. Слово в слово, с той же арифметикой. И от того, что это сказал вслух другой человек, оно не стало легче ни на грамм — оно стало только официальным.

— Понял, товарищ сержант, — сказал я.

— Не понял. — Он сплюнул в сторону, коротко, зло. — Но потом поймёшь.

— Товарищ сержант, разрешите три вещи доложить.

— Докладывай.

— Первое. Фельдшер просил передать: ему нужна вторая коптилка, настил под раненого и срезать ступеньку у входа в ход сообщения. И патронные ящики от входа убрать, они там впритык стоят, каждый с ношей об них цепляется.

— Ящики я туда велел ставить.

— Знаю. Их больше некуда было ставить вчера. Я сегодня выкопаю нишу под них в стенке оврага, метров на пять выше по ходу, там сухо. Полчаса работы, и ход освободится.

Бортников посмотрел на меня долгим взглядом, будто прикидывал, сколько во мне ещё таких готовых решений.

— Второе?

— Второе — крайний отрезок. Прошу разрешения поднять там насыпь в полный профиль первым делом, до всякой новой разметки. И нишу для головы сбоку. Опарин сказал, что встанет туда с лопатой.

— Опарин сказал?

— Так точно. Сам подошёл.

Тут Бортников впервые за утро поднял бровь, и я понял, что этой одной фразой заработал больше, чем всей соломой.

— Ну надо же, — сказал он. — Третье?

— Третье — расход. У Ковалёва боезапас почти пустой, он за ночь высадил, я на слух считаю, сотни полторы. У Дьячкова двадцать шесть, у Селиванова около двадцати, у меня шесть. Если сегодня они придут второй раз, нам нечем будет отвечать больше десяти минут.

— Ты и это посчитал.

— Я вслух считал, товарищ сержант, всю ночь, между выстрелами. У меня иначе голова не работает.

Бортников помолчал, глядя куда-то за мою спину, на серое утреннее поле.

— Патроны будут к обеду, — сказал он. — Я к старшине пойду сам. А ты бери своего Опарина и начинай с крайнего отрезка, и чтоб к темноте там был полный профиль, а не твоё сено.

— Есть.

— И вот ещё что. — Он уже повернулся уходить и остановился. — Взводный придёт через час. Он вчера в роту доложил про восемнадцать ячеек на сегодня. Восемнадцать, Гринёв. А у тебя один человек выбыл и один будет полдня насыпь поднимать.

— Значит, четырнадцать, — сказал я сразу, потому что уже посчитал, пока он говорил.

— Ты уверен?

— Я уверен в тринадцати. Четырнадцатую обещаю.

— Опять на единицу меньше, чем хочется, — проворчал Бортников, и в этом ворчании была странная, почти домашняя интонация, будто он ругал не бойца, а погоду.

— Опять, товарищ сержант. Это у нас с вами теперь семейное.

— Иди умойся, — сказал он. — У тебя вся морда в чужой крови, на тебя люди смотреть боятся.

Он пошёл вдоль линии — и я слышал, как он остановился у ячейки Дьячкова, и как Дьячков спросил у него что-то, чего я не разобрал.

И как Бортников ответил.

Он не понижал голоса. Он вообще, по-моему, не подумал, что я услышу, — он говорил своё, отделению, тем усталым тоном, каким сообщают, что завтра будет дождь.

— Плетень. Соломы навалил и плетня, а немец по нему всю ленту и высадил. — Пауза. — Чутьё у парня, вот что я тебе скажу. Мозгов у него ещё нет, а чутьё уже есть.

— Так он же расчёт вёл, — сказал Дьячков. — Он про трассы объяснял, я слышал.

— Мало ли что он объяснял. Объяснить всякий горазд после. А сделал он это до, в темноте, за восемь секунд, и вот это уже не арифметика.

И пошёл дальше.

Ковалёв сидел у ДП на расстеленной шинели и вычищал из окна подачи набившиеся стебли. Рядом лежали две пустые пачки, ещё одна была разорвана сбоку и набрала сырого песка.

Я подошёл к Ковалёву.

— Дьячков, пилотку отдай Прохору. Прохор, отнеси обоймы вниз. Сухие положи отдельно, мокрые покажешь мне, — распорядился я.

Прохор подхватил пилотку с порожними обоймами, но тут же застыл, глядя на Ковалёва.

— А ему помочь?

— Поможешь, когда он позовёт. У него сейчас одна лишняя рука дороже пятнадцати добрых намерений.

Ковалёв хмыкнул, вытащил из диска соринку и посмотрел на крайний отрезок, где ещё торчали разбитые прутья.

— Ты пулемёт куда к вечеру переставишь?

— Сюда обратно не поставлю. Они вспышки видели.

— Вот и я про то. Под корень за промоиной, правее на два шага. Оттуда сектор тот же, а голову из-за гребня не высовывать.

— Землю там сначала выбрать надо, — сказал Ковалёв, проводя ладонью по холодному кожуху. — Сошкам опереться не на что, в рыхлом гулять будут.

Опарин, который всё это время стоял у своего края с лопатой, молча воткнул её в рыхлую землю у промоины. Вывернул пласт, второй, потом присел и отвалил ещё ком.

— Под корень, значит, — буркнул он, не оборачиваясь. — Чтобы пулемётчика не видно было. Гринёв, ты ему угол скажи, а яму я сам пойму.

Я взял у него второй ком и оттащил туда, где земля не мешала проходу. Опарин заметил, коротко кивнул и снова нажал на черенок. Вчера он берёг эту лопату от меня; теперь молча делал ровно то, о чём я просил, и сам следил, чтобы проход к пулемёту не завалило.

У входа в санитарный ход всё ещё стояли цинковые ящики. Ночью через них протискивали Стеблова и второго раненого, а теперь между ящиками и стенкой проходил человек только боком. Я подошёл, толкнул крайний носком сапога — он даже не шелохнулся.

— Дьячков, Прохор, сюда. Не тащите в ход, вон к повороту, вдоль стенки. До ниши руки ещё не дошли, но носилки должны пройти сейчас.

— Вдвоём один-то еле сдвинем, — Дьячков вцепился в железную ручку и попробовал приподнять. Ящик дёрнулся, царапнул дном мёрзлую землю и снова сел.

Опарин подошёл сам, без приглашения, перехватил ящик с другого конца. На раз-два они подняли его до колен, прошли три коротких шага, поставили у стенки и сразу потянулись за вторым. Прохор бежал рядом с пилоткой обойм, то прижимая её к груди, то придерживая ящик ладонью.

— Не держи ты его так, — бросил ему Опарин, переводя дыхание. — Ящик железный. Себя держи.

Прохор покраснел, отнял руку и чуть не задел сапогом мокрую пачку. Я успел подхватить её раньше, чем она ушла в грязь, стряхнул землю и отдал Ковалёву.

— Эти первыми не заряжай, — сказал он, разламывая пачку. Внутри картон почернел от воды. — На чистку потом. Мне сейчас сухое давай.

Прохор молча кивнул и побежал к плетню, обходя воронки и чужие сапоги. Когда второй ящик встал у поворота, ход раскрылся: по узкой прямой полосе земли теперь можно было провести раненого, не поворачивая его боком.

Когда Бортников снова окликнул нас для доклада, проход был свободен, Ковалёв собирал пулемёт, а Опарин копал ему новую ямку. Ночной бой разбирали руками, чтобы встретить следующий.

Позже Бортников заставил нас восстановить ночь по секундам. Память ставила первую очередь раньше миномёта, но первым был сухой деревянный стук на западе и мой крик: «Мина!» На двенадцатой секунде развернуло крайний отрезок; потом уже смешались крики, очереди Ковалёва и наши винтовки. Внутри боя порядок распался; в докладе мы собрали его обратно.

Мне хватило этой работы по горло. Солома сработала один раз, потому что немец увидел в темноте то, что привык видеть. На второй раз он придёт уже не гадать, а искать; значит, к ночи придётся встретить его настоящей насыпью, настилом в санходе, второй коптилкой и теми патронами, которые сумеет выбить Бортников.

Я спустился к оврагу и умылся в воронке с ледяной водой. Кровь со лба сходила плохо, песок царапал кожу, пальцы сводило от холода, но когда я разогнулся, лицо стало просто холодным, а не грязным.

— Андрюх! — крикнули сверху. Прохор. — Иди сюда! Сержант всех собирает!

— Иду!

— И это, Андрюх! Опарин лопату вторую где-то раздобыл, говорит — тебе!

— Скажи ему, что я тронут до слёз!

— Он говорит — не тронут, а копай!

Я полез по скользкому суглинку, помогая себе руками, и на середине подъёма услышал запад.

Гул стал ниже и шире. Не та россыпь голосов, что всю ночь пробовала нашу линию, — тяжёлый ровный фон, в котором отдельные машины уже не различались.

Ночная группа ушла, оставив нам Стеблова, разбитый плетень и пустые диски. А основная сила уже подтягивалась за лесом.

## Глава 10. Час туда, час обратно



Днём было тихо, и эта тишина мне не нравилась больше всякой стрельбы: западный гул весь день держался за опушкой, а перед нашими ячейками никто не показывался.

К темноте Бортников подозвал меня к краю хода сообщения и посмотрел в поле так, будто ждал, что оно ответит.

— Днём над нами никто не летал, — сказал он. — Ни разу. А позавчера прилетали, и бомбы легли точно по ячейкам. Ты про это думал?

— Думал, товарищ сержант. Так класть с воздуха вслепую нельзя. Кто-то им показывал с земли.

— Вот и я о том. — Он мотнул головой к темнеющей опушке. — Пойдёшь ночью туда. Посмотришь, что у них стоит. Дьячкова возьмёшь.

До этого вызова день был набит работой, которую надо было успеть закончить до новой ночи. Мы досыпали бруствер на крайнем отрезке до полного профиля — первым делом, до всего остального, как я себе и обещал у воронки с ледяной водой. Опарин копал рядом и молчал; его лопата входила в мёрзлую корку коротко, зло, ровно, а я рядом сбивался, стряхивал с черенка налипший ком и ловил его косые взгляды. Но он не сказал ни слова: всё нужное уже было сказано на построении.

К полудню солнце ненадолго вышло из-за облаков, верхний слой инея поплыл, и земля запахла сырым перегином, а не мёрзлым железом. Прохор принёс воду в двух котелках, сцепленных проволокой; мы размачивали в кипятке вчерашний сухарь, потому что зубы уже не брали его всухую. Опарин ел, глядя за бруствер, и буркнул, что его баба таких сухарей на неделю не засушила бы — всё бы за один день ушло. Никто не стал отвечать: сказать это ему было нужно, а продолжать было нечего.

После обеда я положил в санходе настил: четыре жерди, охапка лапника, час работы, как и обещал фельдшеру. Резать жерди пришлось у последнего угла плетня; Ковригин поправил носком край лапника под Стебловым, и этим молчаливым жестом сказал больше похвалы. К



вечеру Кожухов выдал топлёный жир на вторую коптилку, а Опарин за двадцать минут срезал ступеньку у входа так ровно, что, отряхнув лопату, усмехнулся: «Теперь хоть по-людски».

Пока мы возились с этим, Ковалёв у нового пулемётного гнезда примерял ДП к краю, утаптывал землю под сошками и проверял, не цепляет ли ствол за корень. Дьячков долго торговался за щепоть махорки, требуя два патрона, а потом отдал её бесплатно, а Прохор рассыпал на жнивье сухари, зацепившись за корень. Далеко на западе один раз ударило глухо; все замерли, прислушались, поняли, что не по нам, и снова принялись за работу. Только тишина от этого не стала легче.

— Котелок оставь, — сказал я. — И ложку тоже. Звенит хуже колокола.

Дьячков посмотрел на меня так, будто я предложил ему оставить винтовку.

— А есть чем потом хлебать?

— Вернёмся — похлебаешь. Не вернёмся — тем более незачем.

Бортников стоял рядом, тяжело дышал носом, смотрел, как я перебираю Дьячкову под-  
сумки. Гранаты — в карман, чтобы не бились друг о друга в сумке. Флягу обмотать тряпкой. Каску снять, шапку надеть — каска луну ловит, шапка нет. Патронные обоймы переложить так, чтобы не тарахтели при движении, каждую отдельно завернуть в тряпицу, у кого нашлась.

— Жрать не будем, — сказал я, когда Прохор сунул мне сухарь.

— Чего это?

— Живот у сытого урчит громче. И если пузо пробьют — чем полнее, тем хуже дело.

Прохор отступил на шаг, будто я его самого предупредил, и посмотрел на свой карман, где, видно, лежал такой же сухарь, с новым подозрением. Дьячков хмыкнул, но сухарь тоже спрятал обратно.

— Прыгни, — сказал я ему.

— Чего?

— Прыгни. На месте, повыше.

Дьячков посмотрел на Бортникова, ожидая, что тот это прекратит. Бортников смотрел в сторону.

Дьячков прыгнул — и зазвенел так, что Прохор сзади прыснул в кулак: где-то у него в мешке нашлись две ложки, кружка и, судя по звуку, вся посуда Можайского уезда.

— Ещё раз.

Он вытряхнул кружку и прыгнул опять. Звенело меньше, но звенело.

— Аким, — сказал я, — ты идёшь в поиск или на свадьбу?

— Так я ж всё вынул!

— Ты вынул то, что помнил. А звенит то, что ты забыл. — Я обошёл его и хлопнул ладонью по бедру, по груди, по спине — там глухо звякнуло. — Вот. Что там?

Он полез за пазуху и вытащил жестяную коробочку из-под монпансье, в которой у него хранились иголки, нитки и, отдельно, гвоздь.

— Гвоздь-то зачем?

— Гвоздь всегда пригодится, — сказал Дьячков с достоинством.

— Спорить не буду. Заверни его в тряпку и положи в карман, а не в жестянку. Ты сейчас с этой коробочкой как козёл с колокольчиком: тебя пастух за версту найдёт, и хорошо бы, чтоб это был наш пастух.

Он завернул, повозился с тряпицей, и коробочка, ставшая мягким свёртком, легла в карман беззвучно. Прохор смотрел на это всё круглыми глазами и, я видел, запоминал — и вот это было единственное хорошее, что случилось за весь вечер.

— Слушать меня, — сказал я тихо, — не потому что я умный. Дед мой в германскую два года в поиск ходил, кое-что рассказывал. Просто запомнил.

Дьячков дёрнул плечом.

— Дед у него. У всех деды. Только тебя одного вперёд посылают.



— Значит, повезло деду с внуком, — сказал я и полез через край окопа.

Бортников придержал меня за рукав.

— Гринёв. До леса и назад. Не геройствовать. Мне живые нужны, не сведения на тот свет.

— Так точно.

— Час туда, час обратно, — сказал он. — К четырём не будете — подниму отделение по тревоге, а вы уже сами по себе.

Поле лежало передо мной сжатой стернёй, ровное, как стол, и от этого страшнее всякого леса. Полкилометра. Луна то выходила, то её съедало облако — рвано, неровно, как дырявая простыня над полем, и я лежал в трёх шагах от бруствера и считал, сколько секунд свет держится, сколько — темнота. Двадцать на пятнадцать. Достаточно.

— За мной, — сказал я Дьячкову. — Ползком, до первой межи. Как свет — стоп, лицом в стерню, не дышать.

— Я в поиск не первый раз, — огрызнулся он.

— Тогда покажи.

Он не ответил, но пополз следом, и полз хорошо — низко, локтями, без рывков. Луна вышла — мы легли. Стерня колола щёку, пахла пылью и мышами, иней таял под подбородком холодной каплей, и я лежал так неподвижно, что чувствовал, как по руке, оставленной на земле, ползёт что-то мелкое — жук ли, мороз ли, — и не мог пошевелиться, чтобы стряхнуть, потому что свет ещё не ушёл. Я считал про себя, дошёл до двадцати трёх — стало темно, и мы снова пошли.

Тело моё в этом деле не подводило — впервые за три дня. Оно не просило силы. Оно просило только терпения — лежать, не шевелясь, пока считаешь чужие секунды, — а терпеть я умел ещё раньше, чем это тело родилось. Руки помнили, куда ставить локоть, чтобы не хрустнуло сухое жниво. Ноги помнили, как переносить вес, чтобы не оставить в стерне борозду темнее прочих. Двадцать лет ночных выходов сидели во мне глубже, чем восемнадцатилетние мышцы, которые дрожали от одной команды «бегом марш».

На трети поля мы наткнулись на первого.

Он лежал в неглубокой борозде, лицом вниз, в нашей шинели, и лежал давно — иней взялся на нём ровным белым ворсом, как на стерне, и от этого он перестал быть человеком и стал частью поля. Я нащупал его ладонью раньше, чем увидел: рука ушла в мёрзлое сукно, и я отдернул пальцы, но заставил себя вернуть их обратно и ощупать плечо, спину, чтобы понять, что это, прежде чем поднимать голову и смотреть.

Дьячков рядом дернулся всем телом и приглушённо, страшно вдохнул.

— Тихо, — выдохнул я ему. — Свой. Давно.

Он был из тех, кто отходил здесь до нас, — может, неделю назад, может, три дня. Никто его не убирал, потому что поле простреливается, а ночью по нему ходят только такие, как мы. Я провёл рукой по спине: сукно на лопатках задубело коробом, и под коробом ничего не подавалось. У него не было каски. Шапки тоже не было. Затылок был голый и белый от инея.

Двадцать лет я ходил мимо таких и научился на них не смотреть. Это простая наука, ей выучиваются за одну зиму: глаз скользит и не цепляется, и ты идёшь дальше, и вечером ешь с аппетитом.

А тут глаз зацепился.

Потому что рядом с его правой рукой, в полушаге, лежала винтовка, и он держал её до конца — пальцы примёрзли к цевью и остались согнутыми, а сама винтовка лежала стволом туда, откуда он шёл. То есть он повернулся. Он бежал, потом остановился, повернулся лицом назад и лёг стрелять, и его положили именно в этот момент.

Я лежал в стерне рядом с ним и очень отчётливо, очень спокойно понимал, что через несколько дней вот так же будет лежать Прохор, если я не успею научить его правильным вещам. И что научить я успею штуки три, от силы четыре.

— Пошли, — шепнул Дьячков.

— Погоди.

Я вынул затвор из его винтовки и сунул себе в карман, а сам ствол оттащил на два шага и утопил прикладом в мягкое, чтоб торчал вверх. Так делают, чтобы потом нашли.

— Ты чего это?

— Затвор им не оставим, — сказал я. — А место пометим. Придут похоронщики — увидят.

— Не придут сюда похоронщики.

— Тогда мы придём. После. — Я вернулся на локти. — Всё, пошли.

Мы поползли дальше, и до самого леса он ещё дважды оглянулся на торчащий приклад, а я ни разу, потому что оглядываться назад в поиске — это лишняя секунда, украденная у того, что впереди, а впереди была вся причина, зачем нас сюда послали.

На середине поля Дьячков придвинулся ко мне вплотную, зашептал в самое ухо, и дыхание у него было рваное, частое:

— Стеблова ночью — ты видел? Как его разворотило.

— Видел.

— А ты третий день кричишь — вот тут ляжем, вот сюда не ходи, а мина легла именно туда, где ты вчера кол ставил, пока ты со своими выдумками указывал, где нам стоять.

— Тише.

— Ты мне не затыкай.

— Тебя за полкилометра слышно, — сказал я и потянул его за рукав вниз — луна вышла снова, и мы вжались в стерню, и на этот раз я насчитал восемнадцать секунд, короче обычного, облака редели, и в это короткое затемнение я чувствовал, как рядом Дьячков дышит мне в плечо, зло, часто, и явно ещё не выговорился до конца.

Дальний лес стал видно отчётливей — тёмная стена, неровная кромка, и я уже слышал то, чего не слышал полчаса назад: ровный низкий звук, не ветер, не шум леса. Двигатель. Работает на холостых, кто-то греет его или не глушит вовсе, экономит спички на холоду.

— Слышишь? — шепнул я.

Дьячков замер, послушал.

— Ветер.

— Ветра нет третий час.

Мы прошли последние сто шагов уже не ползком — где перебежками от куста к кусту, где на четвереньках вдоль неглубокой промоины, и опушка открылась вблизи такой, какой её с наших окопов было не разглядеть.

Земля перед лесом была порота — не пахана плугом, а порвана железом, широкие рубчатые борозды шли из леса на поле и обратно, глубокие, свежие, с осыпавшимися краями, ещё не подмёрзшими. Гусеницы. Не одна машина — три следа, может, четыре, разной ширины колеи, и один след явно шире прочих — не танк рядовой, что-то тяжелее.

Я потянул носом. Соляр, выхлоп, горелое масло — запах стоял над опушкой плотно, не успевший выветриться: машины стояли здесь не первый час, может, и с ночи.

— Ложись, — сказал я Дьячкову, и мы легли на край промоины, и оттуда, из низины, я разглядел под березами то, что сперва принял за кусты — неровные, нескладные силуэты, обвешанные ветками, ломаные линии, каких у живого дерева не бывает. Борта, катки, стволы орудий, прикрытые срубленным лапником, наваленным второпях, но густо, с расчётом на воздушную разведку — снизу, с поля, всё равно было видно то, что сверху скрывали.

Я насчитал шесть машин под ветками, седьмую угадал по звуку — она стояла глубже, в самой чаще, той самой на холостых. Между машинами угадывались фигуры — двое, может трое, ходили медленно, кутались, курили в рукав, огонёк то вспыхивал, то гас, и по этому мерному, спокойному хождению было видно, что люди эти чувствуют себя дома, не ждут никого

из темноты, и это спокойствие противника само по себе было для меня сведением не хуже гусеничных следов.

Вот кто наводил вчера авиацию так уверенно. Не с неба вслепую работали — с земли корректировали, знали, где наши ячейки, знали, где Ключин копал.

— Это танки, — прошептал Дьячков, и в голосе его впервые за ночь не было злости, только то, что было у Прохора вчера над телом Ключина.

— Не одни танки. Смотри правее — стволы длинные, откат большой. Самоходки или орудия на тягаче. Рота столько не переживёт, если это на нас пойдёт с рассветом.

— Сколько их всего...

— Сколько видно — не всё. За лесом ещё может стоять.

Я запоминал — не считал уже, запоминал целиком, как местность ложится, откуда удобнее бить, куда они пойдут, если пойдут по этому полю, — и в этот миг с опушки, шагах в сорока левее, поднялась в небо ракета.

Белый свет облил стерню, промоину, наши спины — и я увидел, как один из тех, что курил в рукав, разворачивается лицом к нам.

— Уходим, — сказал я, и мы покатались в промоину, и сзади уже бил пулемёт — очередь прошла высоко, вторая ниже, срезала стерню в шаге позади Дьяčkова.

Мы бежали не по прямой — рывками, влево, вправо, я тянул Дьяčkова за рукав в сторону от линии огня, считал секунды между очередями, потому что МГ имел свой ритм, свою слепоту в развороте ствола, и в эту слепоту мы и ныряли.

Вторая ракета взлетела правее первой — они брали поле в вилку света — и на этом свету моё тело подвело меня в третий раз за три дня: нога подвернулась в кротовой норе, я упал, дыхание вышло из меня разом, и подняться сразу не вышло — грудь ходила ходуном, ноги не слушались, а огонь бил уже ближе, комья мёрзлой земли летели в лицо, и я лежал секунду, две, чувствуя, как холод стерни жжёт щёку, а тело отказывается подниматься, как будто разучилось это делать.

Дьячков дёрнул меня за ворот, поднял почти волоком, потащил на себе, ругаясь без слов, одним рычанием, и я перебирал ногами, чтобы хоть не быть мёртвым грузом, и стерня летела назад под нами, и где-то у самого края поля Дьяčkова достало по бедру — он охнул, качнулся, но не упал и меня не выпустил.

— Ранен?

— Беги, — выдохнул он.

Мы упали в наш окоп одновременно, друг на друга, оба тяжело, с силой, от которой у меня перехватило дух ещё раз, и сверху, из темноты, ударил уже наш пулемёт — Ковалёв бил длинными очередями туда, откуда шли трассы, прикрывая, гасил их азарт, и немецкий МГ замолчал через минуту, отступил в глубину, побоявшись отвечать на встречный огонь неведомой силы.

Бортников стоял над нами, тяжело дышал, светил в лицо Дьячкову закрытым фонарём.

— Куда попало?

— Бедро зацепило. По касательной, — Дьячков стиснул зубы, пока Прохор резал ему штанину, и я видел, как у него подрагивают губы, но глаза остаются злыми, живыми. — Он там сам чуть не остался лежать. Упал — и лежит. Пришлось тащить.

— Нога, — сказал я. — Уже прошло.

Бортников присел на корточки, смотрел на нас обоих долго, потом спросил тихо:

— Что там?

Я доложил — коротко, как считал: количество машин, направление гусеничных следов, звук двигателя на холостых, запах горячего, людей на опушке, ракеты, огонь. Сказал про длинноствольные орудия на тягачах. Сказал, что кто-то с той опушки корректировал вчерашний авианалёт, потому что бомбили не поле, а именно наши ячейки.

Бортников молчал, глядя в темноту поля, откуда мы только что выбрались живыми.

— Это не разведка боем, — сказал он наконец. — Это накопление перед ударом.

— Так точно.

— Роте с этим не справиться.

— Не справится, — сказал я. — Ни роте, ни батальону, если их там, за лесом, ещё столько же.

Он поднялся, отряхнул колени, посмотрел на меня так, как смотрел в первый день — не враждебно, но с тем прищуром, с каким смотрят на вещь, которая работает лучше, чем должна.

— Пиши, — сказал он Прохору, доставая из-за пазухи бумагу и огрызок карандаша. — Всё, что он сказал, слово в слово. Понесём в штаб батальона немедленно, до света.

Он взял у Прохора первую строчку, прочитал, кивнул, потом снова поднял глаза на меня.

— Гринёв. Второй раз за три дня ты видишь то, чего другие не видят. Считаешь секунды под ракетой, как по книге читаешь. Дед в германскую, значит.

— Дед, — сказал я.

— Дед, — повторил он медленно, будто пробовал слово на зуб и находил его не той крепости. — Ладно. После войны спрошу подробнее про твоего деда.

Он отвернулся к Прохору диктовать донесение дальше, а я сидел на дне окопа, чувствовал, как саднит подвёрнутая нога, и думал, что вопрос этот он не забудет, и что рано или поздно придётся отвечать — не сейчас, но придётся, — и что до того часа у меня, кажется, оставалось не так уж много ночей.

Спать мне в ту ночь не пришлось.

Бортников поднял меня через час, когда на востоке едва тронуло серым.

— Собирайся. Пойдёшь со мной в штаб батальона.

— Зачем я там, товарищ сержант? Донесение вы написали.

— Затем, что бумага — это бумага, — сказал он. — А ты своими глазами видел. Пусть комбат на тебя посмотрит и сам решит, верить этой бумаге или нет.

Нога держала, если не спешить. Бортников шёл впереди, тяжело переставляя сапоги по колеям, и я старался попадать след в след, потому что так было легче — колея вела, а я только доверялся ей, как костылю, и с каждым шагом чувствовал, как в подвёрнутой лодыжке отдаётся тупая, тянущая боль, ровная, будто там сидел кто-то и медленно поворачивал ключ.

Светало. Небо на востоке взялось серой полосой, потом розовой, и по этой полосе было видно, что день будет ясный, а значит, немец полетает. Это я отметил машинально, ещё до того, как успел подумать о чём-то другом.

Дорога на штаб батальона шла через овраг и дальше леском, и на этой дороге я в первые же минуты понял больше, чем понял бы за час доклада. Навстречу нам, обочиной, шли двое — без оружия, без скаток, гимнастёрки нараспашку, один без пилотки. Шли не быстро, но и не медленно, тем шагом, каким идёт человек, у которого позади ничего не осталось, а куда идти дальше, он ещё не решил. Бортников на них даже не посмотрел. Я посмотрел, и один из них, поймав мой взгляд, отвернулся первым, будто ему было чего стыдиться, а мне нет.

— Обозники драпают, — сказал я тихо.

— Не наши, — ответил Бортников, не оборачиваясь. — С соседей.

Дальше, у поворота, стояла разбитая повозка, колесо косо лежало в кювете, а рядом на земле — ящики, вскрытые, пустые, с надписью «7.62», и никого возле них. Ящики бросили — значит, тот, кто их вёз, спешил больше, чем боялся трибунала за утрату имущества. Такое бывает по одной причине.

Потом обоз с ранеными — четыре подводы, шли медленно, лошади понурые, возницы хмурые, и один раненый, сидевший свесив ноги, посмотрел на меня так, что я запомнил этот взгляд на всю оставшуюся жизнь, сколько бы её ни было. Я насчитал повязки — руки, голова, у

одного нога туго замотана выше колена, кровь проступила бурым. Раненые с передовой участка левее нас. Значит, там уже стреляли всю ночь, а мы этого не слышали за своим лесом.

— Слышь, Бортников, — сказал я. — У соседей слева ночью было горячо.

— Услышал уже, — сказал он. — Помолчи пока.

Я помолчал. Считал по дороге ещё — сожжённую копну сена у обочины, непонятно кем подпаленную, воронку свежую метрах в тридцати от дороги, ещё дымящуюся землёй, свежие гильзы от ДП, рассыпанные в кювете горстью, будто кто-то отстрелялся и бросил диск. Всё это складывалось в одну картину, и картина мне не нравилась. Тылы вели себя как тылы, которые уже почуяли фронт слишком близко.

Штаб батальона стоял в избе на краю деревни, вернее того, что от деревни осталось — три дома целых, остальные головешки. У крыльца часовой, сонный, вскинулся, когда мы подошли, Бортников назвал себя и попросил доложить.

Внутри было накурено так, что глаза щипало с порога. Стол сдвинут к окну, на нём карта, придавленная по углам гильзами и куском кирпича, керосиновая лампа догорала, хотя за окном уже было светло, — просто не выключили, сил не было встать и задуть. В углу телефонист крутил ручку аппарата, снова и снова, подносил трубку к уху, слушал тишину и клал обратно, и по его лицу было видно, что он делает это не первый час и не первый раз за ночь.

Капитан сидел за столом ссутулившись, китель расстёгнут, лицо серое, под глазами тени, будто их углём подвели. Рядом стоял начальник штаба — сухой, прямой, в отличие от комбата ни на секунду не позволивший себе сесть, — и что-то отмечал карандашом на полях листа.

— Товарищ капитан. Сержант Бортников, третья рота. Разрешите доложить.

Комбат поднял голову медленно, как будто голова весила больше обычного.

— Докладывай.

Бортников доложил коротко, по-военному: ночной поиск, дальний лес, обнаружено скопление техники, до семи единиц, отход с боем, потери — один легко ранен. Комбат слушал, не перебивая, и с каждым словом лицо его не менялось, только взгляд становился тяжелее.

— Кто ходил? — спросил начальник штаба.

— Красноармеец Гринёв и красноармеец Дьячков. Дьячков в санчасти, товарищ капитан, ранение касательное. Фельдшер оставил его до следующего утра: бедро перевязет как следует — вернётся сам, прихрамывая.

— Гринёв здесь?

— Так точно.

Начальник штаба перевёл взгляд на меня, и я шагнул ближе к столу, чувствуя, как под сапогами скрипят половицы, и как этот скрип в тишине избы звучит громче, чем весь ночной бой.

— Докладывай сам, — сказал комбат. — Что видел.

Я доложил. Опушка дальнего леса, маскировочные сети, под ними танки — насчитал четыре, силуэты по контуру башен и стволов разные, две машины повыше и покруглее, две поприместей, — и три орудия на тягачах, длинноствольные, стволы заметно длиннее, чем у полковых пушек. Следы гусениц двух разных ширин на подходе, значит, техника разных типов подходила разными маршрутами и в разное время. Один двигатель работал на холостых — прогревали или дежурили. Людей на опушке видели не меньше десятка, ходили спокойно, не таились, значит, чувствовали себя уверенно, значит, стоят там не первый час.

— Откуда ты знаешь, что это не полковая пушка? — спросил начальник штаба резко, будто ждал повода спросить именно это. — Второй недели на фронте, а рассуждаешь, как будто в артиллерийском училище учился.

Я задержал ответ на вдох: он попал слишком точно. Врать сходу было опасно, а правду сказать было нельзя.

— Дед у меня, — сказал я, — в германскую в артиллерии служил, наводчиком. Рассказывал. Пушка полковая — она короткая, толстая, будто обрубок, а эта — вон какая, ствол длинный, как жердь, я такую только на картинке в книжке видел, дед показывал.

Начальник штаба посмотрел на меня долго, и я понял, что объяснение вышло неловкое — слишком складное для деревенского парня, слишком быстрое, — но придрататься было не к чему, а время его поджимало сильнее, чем мой ответ.

— Ладно, — сказал он и отвернулся к карте, но взгляд ещё раз, уже через плечо, задержался на мне, и я запомнил этот взгляд отдельно от прочих.

Комбат встал, подошёл к карте, наклонился над ней.

— Дальний лес, — сказал он тихо, скорее себе, чем нам, и ткнул карандашом в точку на карте. — Здесь.

Он молчал несколько секунд, глядя на карту, и в этом молчании было больше, чем в любом слове. Потом сказал, всё так же тихо, но так, что услышали все в избе:

— Если это то, что я думаю, и если они ударят здесь, — карандаш прошёл по линии рубежа, — мы это не удержим. Резервов у меня нет. Связь с полком прервана уже третьи сутки. Приказ один — стоять на месте и не отходить без приказа.

Он выпрямился, потёр лицо ладонью, будто пытался стереть усталость руками.

— Написать донесение, — сказал он начальнику штаба. — В полк, с посыльным, конным, немедленно. Всё, что доложил боец, слово в слово. И то, что связи нет третьи сутки, тоже написать.

Начальник штаба сел писать, скрипя пером, а я стоял и смотрел на карту, потому что мне разрешили стоять, и никто меня не гнал, а карта была раскрыта прямо передо мной, и я читал её так, как читал бы двадцать лет спустя после этого утра — по расположению флажков и линий, по тому, где стоят наши батальоны и где обозначены соседи, где разрывы между частями, не закрытые ничем, кроме надежды, что противник туда не пойдёт.

Он пойдёт. Я смотрел на две синие стрелки, нарисованные далеко друг от друга, севернее и южнее нас, и видел не две стрелки, а одну дугу, потому что знал, куда они идут и где встретятся. Между ними лежал весь этот батальон, и вся эта деревня с тремя целыми домами, и наша опушка с одиннадцатью ячейками, и Прохор со своим сухарём.

Через несколько дней тыл, в котором мы сейчас стояли, станет передним краем с обратной стороны.

Сказать я не мог ни слова. Кто я такой, чтобы говорить капитану, где через четыре дня сомкнётся то, чего он пока даже не видит на своей карте. Я стоял, и меня трясло изнутри мелкой дрожью, которую я старался не показать руками, спрятанными за спиной, и дышал через раз, потому что каждый вдох хотел вырваться словами, а слова были запрещены самым смыслом того, что я о себе знал.

— Свободны, — сказал комбат. — Возвращайтесь в роту. Спасибо за поиск.

Мы вышли. Утро разгорелось уже совсем, солнце встало над лесом, и по-хорошему день обещал быть тёплым для октября, если бы не то, что творилось где-то за этим тёплым светом.

Обратно шли молча первые минуты. Бортников шагал тяжело, глядя под ноги, и я видел, что он тоже что-то пережёвывает внутри, не торопясь выплюнуть.

— Гринёв, — сказал он наконец, не поворачивая головы.

— Слушаю, товарищ сержант.

— Ты по этой технике, по следам гусениц, по всему — сколько нам, по-твоему, дней осталось на этом рубеже стоять? Не как боец отвечай. Как будто сам решаешь.

Я шёл ещё несколько шагов, прежде чем ответить, потому что вопрос был задан так прямо, что уйти от него шуткой означало бы обмануть человека, который спрашивал не из любопытства.

— Три, — сказал я. — Может, четыре. Если то, что мы видели ночью, ударит в полную силу.

Бортников кивнул один раз, коротко, и больше ничего не сказал — ни до самого леса, ни когда мы спустились в овраг, ни когда впереди показались первые окопы третьей роты. Он просто принял ответ так, как принимают вес, который придётся нести дальше, и от того, что он не стал спорить и не стал спрашивать, откуда я это знаю, мне стало тяжелее, чем если бы он спросил.

## Глава 11. Часы и щели



К



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.